БОЕВЫЕ ДНИ

EH1281
A939 Р

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

* МОСКОВСКИЙ ИСТМОЛ *

ЕН1281р
А939

БОЕВЫЕ ДНИ

ОЧЕРКИ И ВОСПОМИНАНИЯ
КОМСОМОЛЬЦЕВ - УЧАСТНИКОВ
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Составил М. АФОНИН

Под редакцией Л. Гурвича

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
1929

1й экз

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
2009

К
П

Отпечатано в 4-й типографии
„Мосполиграф".
Армянский, 6. Заказ № 2355.
Тираж 4000 экз. изд. № 2948.
Главлит № А 22811.

ЕН1281
А939

БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА ЛЕНИНА

1189
28
129947

Ср
3 1789

ПРЕДИСЛОВИЕ

Не только красочность и героику гражданской войны должна знать молодежь. На ряду с чрезвычайно яркими эпизодами существовали и тяжелые, но героические будни.

Молодежь, кровью утверждая искренность слов боевой песни:

Смело мы в бой идем
За власть Советов,
И, как один, умрем
В борьбе за это...—

умела переносить трудности и невероятные лишения.

Наш сборник посвящен главным образом этой стороне истории гражданской войны.

Современная молодежь должна впитать традиции героических будней вооруженного комсомола.

Московский Истмол

А. ЗЮЗИН

В ПАНСКОМ ПЛЕНУ

(ПРИКЛЮЧЕНИЯ РАЗВЕДЧИКА)

„Все на польский фронт!“

Лозунг бьет тревогу.

На западном фронте серьезные осложнения.

Боевой клич поднял на защиту революции весь советский молодняк.

Двери укома трещат от напора комсомольской и беспартийной молодежи. С ребятами направился и я.

— Ростом не подходишь... Тебе бы за мамкин хвост держаться покрепче, а ты на фронт,—смеются надо мной пожилые партийцы.

Такого отпора я никак не ожидал. С обидой подскакиваю я к одному товарищу, беру у него винтовку, становлюсь во фронт.

— Ну, командуй!—кричу ему.

— На пле-чо,—улыбаясь командует кто-то из группы.

Быстро исполняю приказание. Раскрасневшись, довольный подхожу к „пожилым“ и спрашиваю:

— Ну что, не умею?

— Умеешь, умеешь. Только не плачь.

Присвистывая, вприпрыжку, не чувствуя ног, полетел я домой, успев по дороге известить знакомых ребят, что еду добровольцем на фронт.

Настал долгожданный час от'езда. Пришли приятели Долго беседовали, вдруг заревел гудок паровоза. От'езжающие ребята затягивают песню. Еще гудок. Тревожно сжимается сердце. Прощанье.

Вот и третий гудок. Трогаемся в путь...

Все дальше и дальше... Мелькают еще платки, шапки, посылающие нам привет... Черной точкой сливается красный платочек моей приятельницы Нюры.

* * *

Каждая станция—опорный пункт. Бесконечные митинги увеличивают энтузиазм красноармейцев, и без того наэлектризованных близостью боев.

Молодая гвардия маршевой роты, вооруженная с ног до головы, козырем ходит по перрону, задорно задевая деревенских красавиц, вышедших проводить красноармейцев.

Но вот и Крупки, так называлось место прифронтовой полосы, где стояла 49 бригада, в которую привезли нашу маршевую роту.

Я и еще ряд ребят попали в 146 полк, в пешую разведку. Две недели ожиданий, и бригада направилась на передовую линию к реке Березине.

* * *

Березина. В ночной тишине саперная команда наскоро строит понтонные мосты. Мы, разведчики, лежим на берегу реки, прислушиваясь к каждому шуму с польской стороны. Опасности боя мы еще не чувствовали. Нам казалось невероятным, что кого-нибудь из нас могут убить. Красочно рисовали мы наши похождения и геройства

голыми руками, мол, возьмем в плен поляков; солдат отпустим, а офицерам поотрубим головы.

Разговор наш неожиданно прервал командир полка.

— Мосты готовы. Ваша задача—узнать расположение противника.

Тихо перешли мы на понтонные мосты. Идем. Переговариваемся шопотом.

— А ведь ничуть не страшно, — шепчет мне один из добровольцев, а у самого зубы выплясывают кадриль.

— Да, только напугали зря, на самом деле ерунда,— отвечаю я ему в тон, чувствуя холод на спине, словно по ней ползают сотни ужей.

Но вдруг... Тик-тик-тик. Тут-тук-тук — послышалось злобное постукивание „Максимки". Разведка наткнулась на польский дозор. Это послужило сигналом. Через мгновенье послышался грохот орудий. В ответ рявкнули наши пушки и лес заговорил на тысячи голосов.

Наша пехота двинулась в наступление. Мы присоединились к общей цепи. Сразу же выявилась наша неумелость и неопытность. Стреляли мы автоматически, не целясь, падали, ударяясь лбами о собственные винтовки.

Бой разгорался. Орудийная и пулеметная стрельба становилась все ожесточеннее.

Вместе с разгаром боя разгорается и наш командир Брегенда. Чувствуя, что разведчики начинают сдавать, он ревет:

— Застрелю, кто сделает хоть шаг назад.

И снова:

— Окопаться!

Ребята вырывают наскоро ямки, прячут голову и выставив наружу винтовку, стреляют во-всю.

— Вперед!—кричит командир. И мы летим вперед, крича во все горло—ура-а-а!!! И так в десятый, в двадцатый раз.

Победа склоняется на нашу сторону. Это ободряет нас, разведчиков, и мы понемногу заражаемся храбростью командира Брегенды и уже не так отстаем от общей массы, действуя дружней. Подымал наш дух еще и пулеметчик, китаец Вася, старый солдат, не раз нюхавший порох. Вася никогда не окапывался. Как бы он открыт ни был, он смело выставлял перед собой пулемет и начинал выпускать ленту за лентой. Часто мы ему кричали—„Вася, уйди, убьют". Он неизменно отвечал:

— Не убьют. Моя машина работай, и я работай.

Наконец, враг был сломлен. Поляки откатились далеко от Березины.

Так мы получили первое боевое крещение.

За первым боем последовали другие—считать уже не приходилось.

Вспоминается разведка, которая подняла наш авторитет среди красноармейцев. Нас, 5 разведчиков, послали узнать, имеется ли за рекой противник. Это было на Буге. Отправились. Ночь темная—хоть глаз коли. С винтовкой, в обмундировании переплыли реку. Поднялись в гору. Не допускаем ни малейшего шороха, ни одного резкого движения. Идем... Вдали маячат какие-то тени. Передвигаемся ползком. Тени вырисовываются ясней и вскоре уже можно различить впереди очертания избы. Это делает нас еще более осторожными; ползем по одному. Подобравшись на близкое расстояние к дому, долго и мучительно выжидаем. Справа от меня поднимается начальник разведки и сгорбившись бежит к избушке. Сердце на секунду замирает.

— Пусто...—долетает шопот начальника.

Со вздохом облегчения поднимаемся с земли и, обогнув избу, идем дальше. Кругом тишина.

Подозрительное запустение наталкивает меня на неприятную мысль. Сообщаю свою догадку начальнику:

— А это, пожалуй, ловушка...

И вдруг. Из глаз посыпались искры, в ушах зашумело, ноги потеряли опору и я, обдирая спину о какие-то колья, полетел в яму. Вслед за мной плюхнулся начальник... Очнувшись от неожиданного полета, огляделись. Кругом лопаты, котелки, банки консервов, патроны.

Окоп.

Но где же противник?

Вызвали ребят. Вместе облазили все закоулки окопа— никого нет. Дело выходило серьезное и мы, не теряя ни минуты, отправились назад. Мокрые, продрогшие, но счастливые от удачного выполнения задания, явились мы к своим. Начальник сейчас же сообщил командиру о перемене позиций поляков и вскоре наш полк переправился на другой берег.

После этого Брегенда уже не указывал нам, что мы „зелены, пороху не нюхали", и старые солдаты над нами не смеялись. Мы завоевали себе авторитет. Ни одно серьезное поручение не проходило мимо нас: мы идем взрывать мост, забираемся в тыл противника, „снимаем" неприятельские дозоры и т. д. и т. д.—живем и работаем, как „заправдышные" солдаты.

* * *

... Вот уже целых три дня, как наша бригада (остатки) измученная голодом, холодом, шагает по 40—50 верст

в сутки. Мы отступаем. Иссякли последние силы, нет военных припасов. Кавалерия врага наступает все ближе и ближе. Треск пулеметов, рев орудий не смолкают, сплетая над нами сеть тугую и страшную.

Впереди смятение — в голову бригады врезалась кавалерия и берет в обхват.

— Стуй, пся крев, карабины давай!!!—кричат раз'яренные познанцы, известные на всем западном фронте своим зверством.

О сопротивлении не могло быть и речи. Мы побросали оружие. Через несколько минут нас поставили в две шеренги. После этого перед фронтом проскакал офицер, отдавая приказание:

— Жиды и латыши, зараз до мне!..

Сейчас же к шеренгам подбежали капралы и стали выводить всех „подходящих“ и всех остальных с татуировками советских эмблем на груди и руках.

Возились с нами долго, упорно выискивая большевиков. После отвратительных издевательств и мародерства некоторых раздели почти до-нага, разделили на две группы и погнали в глубь Польши.

Лил дождь, быстро образовавший потоки и превративший дорогу в черное месиво. До костей пронизывал холодный северный ветер, нахлестывая по голому телу. Все, несмотря на грязь, шли быстро, боясь не отстать и не подвергнуться участи товарищей, расстрелянных по дороге за медлительность.

* * *

Седлец. Остановка. Наша партия получает обед: заплесневевшая булка, два фунта прокисшего мармелада

и вода. Многих отправил этот обед на тот свет. В тот же день, с закатом солнца, нас погнали дальше. По пути к лагерю, в котором предстояло пробыть до 2-х лет, мы останавливались в Варшаве, Лодзи; нас водили на показ по улицам. Посмотреть на странных зверей—большевиков—выбегала вся буржуазия. Неистовствуя, они плевали пленным в лицо, били тростями, истерически вскрикивая:

— Цо, взели Варшаве?!

— Мы вшисцы пуйдзем большевикам кренциць гловы!— кричала панская молодежь, злобно размахивая кулаками. Дети-белоручки, проходя мимо нас, прятались за юбку матери и испуганно спрашивали:

— Мамо, а гдзе-сом у большевикув роги?

Измученные, потерявшие человеческий облик, мы все же были в тысячу раз человечней этих зверо-подобных „победителей".

* * *

Но вот и лагерь. Это бесчисленное множество длинных невысоких бараков, вдоль и поперек оплетенных проволокой. К нашему приходу здесь находилось до 10 тысяч пленных. Невдалеке раскинулось громадное кладбище. Выросло ли оно за существование лагеря, или лагерь построили для удобства ближе к нему,—не знаю.

Темной безжизненной лавой вылилась на платформу наша партия.

— Ведите их в баню,— командует длинноногий сержант, с рыжими бакенбардами.

Был уже конец августа, земля покрывалась холодным снежным саваном; крыши бараков окутались белыми покрывалами. В такой обстановке баня не вызывала никаких приятных ощущений. Нас всех поставили в цепь и

партиями, по пятьдесят человек, стали пропускать в баню. Распарившись, босиком, без верхней одежды выходили мы на улицу, где снова выстраивались, дрожа от озноба. Нужно было дожидаться, пока вымоются все.

После такой бани многие отправились на кладбище, а большая часть осталась на всю жизнь калеками, пообморозив пятки, пальцы и колени.

Наконец всех нас разделили по баракам, снабдили деревянными колодками, фунтов по 10—15 пара, дали с умерших пленных добавочную одежду. С этих пор началась наша „трудовая" жизнь. Нас стали гонять на разные работы: выгружать уголь, таскать балки, возить „золото" на помещичьи земли, возить воду, запрягая по десять-двенадцать человек в сорокаведерную бочку.

И так изо дня в день.

Каждый день, рано утром, в барак влетал капрал и кричал: „Бачность!" Все пулей должны были вылетать на улицу и выстраиваться. После этого устраивался обычный мордобой. Полуживые пленные стучат от холода зубами, это всегда нервирует капрала и он с криком: „Цо стукашь зембами, до холеры?!" бьет ближайшего по челюсти. После такого „подтягивания" гнали на станцию или на помещичьи земли. К вечеру, по окончании работы, нас пригоняли обратно в бараки, делали перекличку и мы ложились спать. Нечего было мечтать о соломе, о теплом одеяле.

Довольно часто мы подвергались и „духовной" работе. По баракам ходили представители белых генералов и призывали нас стать на защиту родины-России. Какие золотые горы они нам ни сулили, как ни уговаривали — за все время к ним, кроме небольшой части

ребят (с мыслью получить обмундирование и удрать к красным) да нескольких офицеров, мобилизованных красными в России,—никто не пошел.

Жизнь лагеря замирала с каждым месяцем.

Как и следовало ожидать, начали свирепствовать заразные болезни, особенно дизентерия. Я не избег общей участи и заболел. Не успел я как следует оправиться от болезни, как меня заставили работать санитаром. Работать пришлось еще больше в самой невыносимой обстановке. Я выбивался из сил и все же успевал помочь лишь немногим. Больных было около сотни, вся эта масса стонала, кричала, умоляла. Даже здоровый человек растерялся бы в такой обстановке. А у меня просто нехватало сил.

К вечеру по всем баракам умирало по несколько десятков человек.

Ночью трупы вытаскивали в мертвецкую, где они были навалены как дрова. Никакие проклятия, ни бесчисленные смерти не смущали польских панов. Для них мертвеющий лагерь был очевидно в порядке вещей.

Помню неизгладимый случай.

Я дежурил ночью в бараке. Около десяти человек было при смерти. Особенно запомнился один молодой парень—московский рабочий. Он сильно бился и в бреду беспрерывно кричал:

— Рота... по бандитам—пли!!

— Рота!!!!

— Рота—пли!!

Через час он замолк.

Пришедший дежурный польский врач приказал отнести его в погребальню. Положив парня на носилки, я и еще

один санитар пошли. Войдя в погребальню, мы поправили падавшую кучу трупов и, раскачав немного, бросили умершего парня на груду мертвецов. Потушив свет, мы направились обратно. Прийдя в барак, я сел за стол и мысленно перекинулся в далекую Советскую республику, в свой уком.

Но вдруг послышался стук в дверь.

— Кто там? Входите!—кричу я.

Никакого ответа. Быстро подхожу к двери и отворяю ее настежь. И тут же останавливаюсь в испуге. Передо мной на четвереньках с бледным лицом, онемевшими зрачками стоял парень, которого мы несколько минут назад отнесли в мертвецкую. Увидев свет, он обессиленный свалился у моих ног. Бедняга не дожил и до утра,—кошмар мертвецкой доканал его окончательно.

Проходили дни за днями в этом городе мертвецов и умирающих.

Единственный луч надежды, который оживлял сердца пленных, был близкий мир.

1921 год. Слухи о мире стали распространяться все настойчивее и в один из дней это маленькое слово точно осветило магнием и возвратило к жизни всю многотысячную массу лагеря. Радости не было конца, все готовы были прыгать, смеяться и целовать друг друга.

— Ура-а!—прокатилось по нашему бараку, вслед за криком вбежавшего пленного. Мы все и без слов почувствовали радостную весть. — Товарищи, к нам приехал делегат от Советской России,— надрываясь сообщал вбежавший пленный.

— Где он?

Радостного вестника обступили со всех сторон.

— Уже по отделам ходит...

— Ну, а каков он из себя?

— А тебе не все равно, какой он?—перебивает наш разговор помолодевший, сияющий товарищ.

Через час мы поем „Интернационал“. Слезы неудержимо льются из глаз; как дети, бросаемся мы друг к другу на шею и крепко целуемся. Приехавшего делегата буквально затормошили: как хлеб, как заводы, что с голодом, предвидится ли урожай и, наконец, когда нас увезут? Ведь тысячи вопросов накопились у каждого за месяцы страданий в лагере.

Польские солдаты, стоявшие невдалеке от нас, сильно заинтересовались нашим „невзрачным“, в простеньком пальтишке делегатом.

— Цо, то сам ваш пжедставицель?—спрашивает „мойнеш“ у одного из пленных. Ответа он не получил; польский офицер почуял опасность и приказал солдатам разойтись по квартирам.

Вечером в бараке, где жил я вместе со всеми пленными рабочими госпиталя, шел оживленный разговор о России.

Под влиянием общего под'ема я не удерживаюсь, вскакиваю на нары и лепечу речь:

— Товарищи, скоро мы избавимся от этой проклятой шляхты и не будем видеть проклятого Габлера...

Мою речь прервал вошедший комендант [1].

— Перестань, а то я тебя в полицию отправлю! в полицию!—закричал он.

---

[1] Человек, занимавшийся вылавливанием коммунистов, за предательство которых он получал 100 марок. Комендант был сотрудником кабинета Савинкова, филиал которого имелся в нашем лагере.

Скорчив презрительную мину, я продолжал дальше:

— Может скоро придется опять пойти на защиту республики... Пойдем и будем драться за дело рабочего класса...

— Ура! ура! Да здравствует советская власть!—от всей души зашумел весь барак.

— Перестань, скотина!—снова набросился рассерженный комендант.

От злобы меня передернуло; не вытерпев, я спрыгиваю с нар, с головокружительной быстротой хватаю скамейку и ударяю со всего размаха по голове шпиона.

Схватившись за ушибленную голову, он полетел в полицию. Барак превратился в бушующее море: шум, смех, возгласы:

— Ай-да Алешка!

— Так ему и надо!

— Не бойся, ничего не будет, мы сумеем защитить.

Совсем неожиданно в дверь влетает жена коменданта и с остервенелым лицом, с ножом в руке летит ко мне, но внезапное нападение дружно отбито ребятами и комендантша убегает ни с чем.

— Тише, братва, идут! — раздается предупреждение охраны.

Все смолкают.

Входит полиция. Впереди выступает капрал и кричит во все капральское горло:

— А ну, зараз по лужкам!—Ребята ни с места. На сцену выступает Габлер, гроза лагеря.

— Цо то ест, зараз по лужкам... Стрелять буду!!

Все разбежались.

Меня хватают за шиворот и, подбадривая ударами плетей, выводят из барака. Ведут в карцер.

Около карцера мне всыпают дополнительную порцию порки и швыряют внутрь этого склепа. Стукнувшись обо что-то жесткое, я без чувств упал на пол.

Немного придя в себя, ничего не понимая, я стал громко звать ребят.

— Товарищи, а товарищи, что же вы молчите, не хотите со мной разговаривать?!—Никто не отвечает. Рассердившись, я снял колодки и стал колотить ими дверь. По госпиталю, находившемуся в одном помещении с карцером, раздаются громкие оглушительные удары. Подбегает часовой.

— Цо стукашь, малы холерны болъшевик?!

Не обращая на часового внимания, продолжаю еще усерднее барабанить в дверь. На стук прибегает дежурный, быстро отворяет дверь и крепко ожигает плетью. Все стихло...

* *

Уже несколько дней сижу я под запором. Кругом темно, ни малейшего света не проникало в мою конуру. При мне, к счастью, был нож и я стал усердно прорезать щель. Стена была деревянная и я скоро получил возможность сообщаться с товарищами и выкуривать в день хотя бы одну ножку махорки. Сидя в карцере, я придумывал различные планы освобождения. Сговорившись с Шуркой, товарищем, работавшим со мной в госпитале, я приготовился к побегу. В назначенный день я оборвал у пола доску и, чуть только темная ночь заменилась утренним заревом, просунул голову в щель и стал прислушиваться. Повсюду тишина... Только время от времени раздавалось перекликание часовых. Осторожно, стараясь не произвести ни малейшего шороха, я вылез. Свежим утренним возду-

хом обдало мне лицо и я с облегчением вдохнул утреннюю прохладу. Тихонько передвигаясь вдоль стены, я подошел к углу барака, но едва сделал еще движение, как услышал шаги. Быстро бросился я обратно к дыре. Но меня заметили, поднялась тревога... и мой побег был обнаружен.

Просидев месяца полтора, я был выпущен, но вскоре, заподозренный в разбрасывании прокламаций, снова попался. На этот раз я был представлен пред „яснее очи" коренастого, со свиной шеей и золотой цепочкой предводителя шпионов и ставленника Савинкова.

— Вы—доброволец?—спрашивает он меня.

— Нет,—ответил я.

— Какой армии?

— 16.

— Дивизии?

— 17.

— Полка?

— 146.

— Кем был?

— Рядовым разведчиком.

Допрос окончен, я задаю вопрос:

— Мне можно итти?

— Нет, вас поведут,—ответил мне свиноподобный.

— Это безопаснее,—швырнул я ему и, повернувшись, направился к выходу.

Через час я уже сидел в полутемном бараке, окруженном колючей проволокой. По сторонам часовые.

* * *

Несмотря на то, что был уже мир, питание ничем не улучшилось, пленные попрежнему голодали и число умирающих не уменьшалось.

Пленные об'явили голодовку, пред'явив требование улучшить питание. Сержант, которому были заявлены требования пленных, отделался наглой шуткой.

На следующий день утренний квас и обед остались нетронутыми.

На второй день дали усиленную дозу, но и это не соблазнило.

— Мы требуем хорошей пищи,—заявил руководитель голодовки сержанту.

Тот поежился и ушел. На третий день то же самое.

Весть достигла до главы лагеря, полковника Незнарского, и пища была улучшена.

. . . . . .

Дни шли.

Эшелон за эшелоном отправляли пленных в РСФСР. С пятым эшелоном поехал и я. Сколько радости было у всех на лицах. Одетые в новые костюмы, мы снова почувствовали себя людьми. Как тут не радоваться!

Гудок... под громкие песни трогаемся в путь. Счастливые, мы не замечаем даже, что едем под замками. Песни сменяются речами, приветствиями. И так до самой ночи

Наконец-то проехали Лодзь, Варшаву и другие польские города.

Вдали виднелся красный стяг—„Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" Это советская граница. Не верится,—неужели избавились от мучений?

Наши размышления прерывают звуки „Интернационала". Все сдергивают шапки и, всхлипывая, с радостью вторят чудным звукам, призывающим к борьбе.

Мы в свободной стране! Мы в РСФСР!

И. АФАНАСЬЕВ

ДНИ БОЕВЫЕ

Тяжелый год выпал на долю еще не окрепшей молодой республики. Польша воспользовалась бедственным положением и нанесла удар Советской стране. Началась перегруппировка войск, с тыла перебрасываются резервы. Спешно проводится мобилизация партийных и комсомольских сил, чтобы влить свежую струю в организм уставшей от долгой борьбы нашей славной Красной армии.

Я был мобилизован московской организацией на польский фронт. Буднично, но по-деловому прошли последние московские минуты.

Вокзал. Звонки, свисток, последние приветы провожающих, и мы в пути.

После долгих и утомительных мытарств по штабам армии, дивизии и бригад попадаем, наконец, во фронтовую полосу.

Мы с Н. Ф. были назначены в пулеметную команду 70 полка 24 бригады. Полк стоял недалеко от реки Березины, которую скоро пришлось переходить с боем.

Положение было напряженное, шло накопление сил и время пока проходило в подготовке к наступлению.

Наконец, в бой. Первое время—время „крещения огнем"—я чувствовал себя неважно. Настойчиво говорил инстинкт

самосохранения. Под жужжание пуль теряешься, ищешь куда бы спрятать голову, забывая, что на затылке глаз нет и что не глядя настреляешь немного. Впоследствии, конечно, осваиваешься и привыкаешь.

Первый бой окончился для нас неудачно. Наша оперативная задача заключалась в том, чтобы своим переходом против имения Богуничи отвлечь внимание поляков от важного пункта—города Борисова, где должен быть нанесен главный удар. Ночью саперами был наведен понтонный мост. Рано утром, когда едва еще можно было различить предметы, наши части начали тихо переходить через наскоро устроенный, шатающийся, в полметра шириной, мост. Мы с пулеметом остались в окопе недалеко от моста, на своем берегу, для того, чтобы в случае неудачи прикрыть пулеметным огнем наши части и дать им возможность спокойно перейти обратно.

Тихо. Сквозь легкий туман видно, как пехота рассыпалась цепочкой по берегу, по обе стороны от моста, и стала окапываться. Чуть слышна передаваемая команда. У поляков спокойно; видно еще не пронюхали. Но вот с их стороны раздалось несколько редких выстрелов. Наши отвечают дружным залпом. Тишина нарушена. Началась ожесточенная перестрелка. Затарахтели пулеметы. Наша цепь делает перебежку вперед, снова окапывается, продолжая стрелять. Поляки, застигнутые врасплох, не выдерживают и отступают версты на две. Наконец, поляки укрепились и дали отпор. Наши части дрогнули. Это был решающий момент; но тут из резерва бросили подкрепления и мы снова сбили врага с позиции. Продвинулись еще с версту. Поляки, окончательно придя в себя и охватив положение, делают правильный маневр. Наша

пехота, продвинувшись от берега вглубь, обнажила свои фланги. Противник, учтя это, направляет силы в обход с обоих флангов, чтобы обхватить кольцом наши части и затем, сомкнувшись у моста, отрезать путь к отступлению. Но это было во-время замечено и мы без потерь вернулись обратно.

Не раз пришлось нам переходить Березину. В конце концов, поляки были сброшены с Березины окончательно, и Красная армия лавиной двинулась вперед. Противник отступал беспорядочно и панически, бросая по дороге повозки со снарядами и вооружением, оставляя на станциях железной дороги вагоны с провиантом, обмундированием и т. д. Чтобы выиграть время, поляки взрывали мосты и портили дороги, перерывая их глубокими ямами...

С раннего утра и до поздней ночи, с короткими перерывами для отдыха, мы были в походах и все же не могли настигнуть противника. Но если у поляков недоставало времени для боев, то для мародерства они его находили. Чувствуя, что навсегда оставляют эти места, они вымещали свою злобу на мирном населении.

В одной деревне, например, они перерезали всех свиней, забрали с собой все задние части туш, а остальное бросили на улице. В другой деревне ходили по избам с факелами и, грозя поджогом, требовали продуктов; уводили лошадей, били крестьян. Да всего не перечтешь, что они творили при поспешном бегстве. В каждой деревне выслушивали мы жалобы и плач крестьян.

Даже в таком укрепленном по последнему слову техники, опорном пункте, как Барановичи, поляки не остановились и не приняли боя. Укрепления там сделаны

следующим образом. Глубоко в земле вырыты окопы, сверху в несколько накатов положены толстые бревна и все это отполировано цементом. Для трехдюймовки это было бы, пожалуй, и не под силу. Кроме того, впереди несколько десятков рядов проволочных заграждений. И из этих-то блиндажей не было сделано ни одного выстрела. С удивлением нашли мы эти укрепления совершенно пустыми.

Итти приходилось чуть ли не полные сутки. По неделям не видели мы горячей пищи. Продукты во-время доставить было невозможно: местность вокруг песчаная, дороги скверные, затруднявшие доставку. Приходилось состоять на довольствии у крестьян. Но и здесь не всегда успевали мы поесть как следует. Останавливаемся, например, где-нибудь на отдых; расквартировываемся, достаем картошки, мяса и начинаем в котелках на костре варить „шамовку". Но не тут-то было. В самый разгар раздается команда:

— Вставай! Строиться!

С сожалением приходится выливать недоварившийся суп и снова отправляться в поход. Но некоторые не решаются выбросить столь драгоценное варево и на ходу жуют полусырое мясо.

Необходимо отметить, что как ни были мы измучены бессонными ночами и полуголодные, это все же нисколько не отражалось на твердости духа и моральном состоянии войск. Ребята все-таки были бодры и веселы, как и вначале.

Еще нас мучили враги не легче поляков—это вши. Вымыться и постирать белье было некогда, да и бани не встречались в деревнях. Недаром в те времена был

лозунг: „или вошь победит социализм, или социализм победит вошь". Но и с этими врагами мы справлялись не хуже, чем с поляками. Обычно мы разжигали большой костер и, сняв белье, держали его над огнем, медленно поворачивая. Жертвы нашей инквизиции падали в огонь и только слышался треск. Не беда, если и пропалишь одну-другую дырку, зато после этой операции, правда на короткое время, чувствуешь себя легче и спокойнее.

Но не везде нам приходилось итти хорошо и легко. Особенно лихо пришлось при взятии городишка Пружаны. Здесь поляки укрепились, чт бы задержать нас на время и дать возможность подтянуться своим многочисленным обозам.

Не доходя Пружан, мы получаем известие, что поляки осели в городе. Чтобы не терять зря времени, собираем с окрестных деревень подводы, на них рассаживается пехота и едем, далеко об'езжая город—в тыл.

Глухая деревушка, верстах в пятнадцати в тылу Пружан. Отдохнув немного, снова садимся на подводы и быстро несемся теперь уже по прямому направлению к городу. Дорога идет все время лесом. Не доезжая версты две до опушки, слезаем и рассыпаемся цепью по лесу. Выслали разведку. Кругом тишина. Вышли уже на опушку. Перед нами на расстоянии более версты вырисовываются белые дома города, опушенные фруктовыми садами. От опушки до города мелко-зыбкий песок. В перебежку, по одному выходит пехота из леса и окапывается.

Прошло полчаса. Вдруг тишину прервал залп из орудий. Один за другим взлетают снаряды перед окопав-

шейся цепью. К счастью, большинство из них с шипением и свистящим гулом зарывается в песок, не причиняя вреда. Стрельба была для нас неожиданностью, потому что мы наступали на город, а нас обстреливали с находящегося справа верстах в пяти холма, поросшего редким лесом. Произошла маленькая заминка, приходилось менять фронт и итти на батарею, чтобы обезвредить себя от ее выстрелов. Позиция получалась неудобная, так как мы попадали под двойной огонь—из города и с холма.

Не обращая внимания на небольшой ружейный огонь города, согнувшись, пошли на батарею. У нас была одна цепь. Поляки, увидя это, стали бить еще чаще, делая завесу из снарядов между цепью и лесом, чтобы отнять возможность получить подкрепление. Вперед идем вначале медленно, но чем ближе к батарее—тем все решительнее. Вот уже стали ясно видны вспышки огня между деревьев. Осталось пройти совсем немного, а там, обстреляв прикрытие и прислугу, броситься на „ура".

К несчастью, у нас оказывается недохватка патронов, на доставку же свежих мало надежды. Батарея пристрелялась и бьет уже картечью по цепи. С жалостью приходится отступать с занятой позиции. Боясь преследования, отступаем бегом, насколько хватает сил. Солнце печет во-всю. Пыль, зной.

Одежду хоть выжимай, она неприятно липнет к телу, связывая движение.

Пехота вязнет в сугробах песка. Нам с пулеметом и того хуже: песок путает ноги, колеса вязнут, а тут еще нужно выбирать дорогу, чтобы не слишком запылить пулемет, не вывести его из строя.

Наконец, скрылись из поля зрения батареи, спрятавшись за насыпью шоссе. Снаряды стали реже. С жарой появилась мучительная жажда. Во рту сухо, нос забился песком, язык болтается, словно деревяшка. Дышать приходится не закрывая рта—„по-собачьи".

Недалеко от шоссе виднелось болото, покрытое зеленой плесенью. Поползли туда. Своим приближением нарушили блаженный покой лягушек, которые недовольно запрыгали в сторону. Вода была теплая, неприятная, пахла гнилью, на дне виднелась почерневшая солома и еще что-то похуже, но с каким удовольствием мы пили эту „живую" воду.

Недолго пришлось нам наслаждаться этим счастьем, надо было догонять своих.

Собравшись в лесу, обсуждаем, что делать дальше. Ребята стоят кучками в прохладной тени деревьев, покуривают махорку и возбужденно переговариваются. Нам, пулеметчикам, разговаривать некогда, надо приводить в порядок пострадавший от путешествия по песку пулемет. Батарея противника после нескольких выстрелов, сделанных на удачу, замолкла. Подается команда—рассыпаться цепью. Хотим опять попытать счастья и атаковать город. Запаслись в обозе патронами и тронулись. Прошли спокойно приблизительно с полдороги. Незадачливые Пружаны! Опять паника и бегство. Батарею мы все-таки же напугали, она снялась, уступив место своей пехоте.

Два раза постигала нас неудача, но мы не унываем и идем в третий раз. Снова начинается перестрелка, но через некоторое время она с польской стороны сразу обрывается—поляки замолкают.

Тихо. Недоверчиво, медленно продвигаемся дальше: довольно с нас неожиданностей. Но все благополучно. У входа в город нас встречает большая толпа жителей. Они радостно машут руками, фуражками, бегут к нам, жмут руки. Нас рвут на части, приглашая на квартиры.

И долго идут рассказы и жалобы о похождениях и расправах поляков перед бегством из города.

С момента бегства поляков из Пружан начинается окончательный отлив польской армии вплоть до Варшавы; реки Неман и Буг мы проходим без боя. Но чем дальше в глубь, тем хуже встречают нас жители: здесь жили чистокровные поляки, враждебно настроенные против красных. Мешали они нам чем могли; прятали в леса лошадей, не давали подвод и даже местами нападали на нас. Нужно было много выдержки, чтобы обойтись с населением хорошо. Зато мы отыгрывались на богатых крупных помещиках близлежащих имений. Захватив драгоценности, помещики утекали, оставляя фураж и продовольствие на произвол судьбы. Нам это было очень кстати. Кроме того, в панских конюшнях мы находили обычно по несколько породистых лошадей, которых тут же распределяли в артиллерию и в обоз.

Преодолевая трудности, мы двигались дальше и дальше, пока не подошли к реке Висле, на которой стоит центр белой Польши—Варшава.

Настроение у всех было радостное. Появилась надежда на близкое окончание войны.

Подойдя к Висле, мы окопались на самом берегу, в двух-трех шагах от воды. Напротив нас в имении расположились поляки. По вечерам было слышно, как на польском берегу играла гармошка и пели песни. Не знаю,

почему, но перестрелок не было. Все же мы с осторожностью спускались к реке, чтобы зачерпнуть в котелок воды, и ходили за ней по очереди, разверстывая этим риск на всех.

Так просидели мы дня два. Затем начались страдные, так долго памятные дни. Неожиданно пришел приказ: сниматься и итти обратно. Все в недоумении. Был уже лозунг „Даешь Варшаву", а тут такая история. Много было слухов и предположений, но настоящего положения никто не знал.

Началось отступление. Когда мы пришли в одну деревушку, жители сообщили, что у нас в тылу в нескольких километрах поляки. Мы только усмехались. К несчастью, это было печальной правдой, в чем мы скоро и убедились.

Темной ночью, глухой лесной дорогой пробирались мы вперед. Шел холодный надоедливый дождь. От порывов ветра жалобно стонали могучие ели.

На пути небольшая поляна, которую надо пересечь. С нами огромный, растянувшийся длинной лентой обоз и немного пехоты. Стараясь делать как можно меньше шуму, мы ползем по грязи. Вдруг с противоположной стороны поляны несколько залпов и характерный стук близких пулеметов. По веткам, над головой зацокали пули. На тысячу голосов заговорил лес.

Первые минуты мы лежали спокойно, но затем сразу прорывается плотина: люди, крича и ругаясь, бросаются из стороны в сторону, прячутся за повозки, команды не слышно—все смешалось в какой-то клубок. Несколько времени спустя, когда немного опомнились, мы стали поспешно выбираться из лесу.

Двинулись вправо, параллельно польским позициям, рассчитывая, что, может быть, случайно наскочили на ка-

кую-нибудь часть и что ее можно обогнуть и спокойно продолжать путь стороной. Обоз тормозил дело невероятно: то одна повозка зэденет за дерево, то другая ввалится в яму, каждый раз приходится останавливаться и выручать.

Так шли мы долгие часы ночи. Раз хотели уже свернуть, но тут, как на зло, засветил прожектор, вдали ответил другой. Значит и тут попали. Решили пробиваться. Пробивались с риском, но безрезультатно. Повернули обратно и пошли уже влево, опять параллельно польским позициям.

Ранним утром пришли в одну деревушку, стоящую невдалеке от полотна железной дороги. Но и тут неудача! По полотну быстрым ходом идет бронепоезд.

Уже совсем рассвело. Появились неприятельские аэропланы, которые, обстреляв нас из пулеметов, скрылись. Вскоре к обозу верхами приехали командир и комиссар полка со штабом и ординарцами. Лица их были нахмурены и серьезны. Мы бросились к ним за раз'яснениями Собрав нас, они осветили создавшееся положение.

„Мы окружены".

Нервы после стольких дней напряжения — сдали. И странно, слово —„плен" приятно связывалось со словами: отдых и сон. Командир по карте растолковывает нам направление и советует, кто как умеет, пробираться маленькими группками глубоким лесом. В его словах слышалась безнадежность.

Штаб уехал.

Нас осталось около двухсот человек. Предложению командира, то ли от усталости, то ли сомневаясь в его успехе, никто не последовал. Пехота, стараясь держаться

вместе (сообща и в плен сдаваться не страшно), бросает винтовки и, завернувшись в шинели, тут же засыпает. Мы начинаем „выводить из строя“ свой пулемет. Вынимаем замок, затыльник и другие мелкие части и бросаем их в колодезь. Короб и кожух разбиваем прикладом. Жалко убивать этого товарища по боям, но ничего не поделаешь. Похоронив пулемет, мы собираем кое-какое барахлишко и идем по избам обменивать на шамовку. Аппетита нет; мы следуем примеру остальных, поуютнее завертываемся в шинели и тревожно засыпаем. Проснулись от какого-то движения и шума. Со сна не поймешь, в чем дело. Видим—все ребята бегут к невысокому плетню и внимательно глядят через него. Бежим к плетню.

По направлению к нам рысью едут два польских кавалериста. На лицах ребят растерянность (хотя плена и ожидали) и тревога. Я соображаю, что это еще не так страшно, потому что двое не станут рубить двести человек, а только в крайнем случае погонят к своим частям.

Кавалеристы, гарцуя на своих откормленных конях, скомандовали строиться по четыре и потом обратились к нам со следующей речью:

— Кто имеет золотые вещи, часы, кольца и николаевские деньги, сейчас же сдать,—предупредив, что после обыска хуже будет.

Итак, свершилось: мы в плену.

Сняв фуражки, кавалеристы стали об'езжать ряды еще не опомнившихся пленных.

Золота, как и следовало ожидать, ни у кого не оказалось У кого-то, правда, нашлась завалявшаяся бумажная николаевская рублевка да серебряные часы. Удовольствовавшись этим, они отстали и, подгоняя, повели нас по

дороге. Бежать при всем желании мы не могли, так как невдалеке стояли польские войска, поэтому даже не делали попыток к этому. Бесцельно было умирать десятку крепких ребят, когда вся остальная масса была дезорганизована и морально и физически.

Итак, начались мытарства, злоключения военнопленных. Дорогой нас останавливали отдыхающие польские части и начинался грабеж. Польские солдаты ходили по рядам, спокойно влезали к нам в карманы, выворачивали их и забирали все, что им попадалось под руку: бумажники, кошельки, перочинные ножики, карандаши, конверты, распоясывали ремни, снимали вещевые мешки, брали белье, гимнастерки, шаровары, всякие нужные и ненужные вещи. Но больше всего интересовались палатками. У нас нашлось их несколько штук и солдаты были ими невероятно довольны. Весь этот грабеж сопровождался ругательствами и криками на тех, кто пытался защитить отбираемую вещь. С такими „облегчительными" остановками мы, наконец, добрались кое-как до одного имения, если не ошибаюсь, недалеко от Ново-Минска, где был штаб польской дивизии. Через некоторое время из имения пришло несколько солидных лиц командного состава.

Нас пересчитали, переписали, после чего погнали на большой скотный двор имения. В узких воротах произошла заминка от входившей сразу массы людей. Тогда, взяв палки, два польских солдата стали по бокам и начали с какой-то дикой радостью бить по спинам и головам застрявших. Войдя во двор, голодные и усталые, поспешно растянулись мы на голой земле и заснули. Но, как оказалось, грабеж еще не окончился. Просыпаюсь со смутным чувством, будто меня тянут за ноги. Сон в руку.

Надо мной действительно стоит поляк и старательно стаскивает с меня сапоги, но безуспешно. Тогда он знаками показывает, чтобы я снял сам. Делать нечего, приходится разуваться. К. счастью, сапоги победителю малы; и он с ворчанием бросает их обратно, словно я виноват, что мои сапоги ему не впору. То же самое проделывалось и с другими товарищами. Среди спящих ходили поляки и снимали обувь, отбирая, если находилась подходящая, хотя многие были обуты в хорошие ботинки. Спать нам не пришлось.

Был август месяц, ночи стали холодные. Вытертая шинель не грела. Так и проходили до утра, шагая из угла в угол по двору.

Рано утром нас собрали и погнали в Варшаву.

Вышли на широкое ровное шоссе. На верстовом столбе цифра 13. Значит столько нам предстояло отмерять до Варшавы. Как ни ровна была дорога, но итти было трудно: с самого момента плена нам не дали ни куска хлеба, да вдобавок среди нас было много совсем босых и с больными, стертыми в кровь ногами от „подаренных" ботинок. Но отставать было нельзя, так как конвойные довольно убедительно подбадривали прикладами в спину. А тут еще, как бы дразня нас, навстречу попалось несколько повозок, полно нагруженных белыми румяными булками.

Природа очевидно тоже была против нас: шел надоедливый, частый, холодный дождик, какой бывает поздней осенью.

Наконец, показался большой мост через Вислу и остроконечные верха зданий и высоких костелов Варшавы Нас усадили на мокрый песок берега под дождем— „для отдыха". „Отдохнув", тронулись в город.

Центр города напоминал нашу Тверскую в начале империалистической войны. На улицах перед шикарными магазинами много праздно-шатающейся, хорошо одетой публики. Чуть ли не у всех в петлицах национальные значки. Газетчики выкрикивают сообщение о „нескольких тысячах пленных большевиков". Плакаты на стенах говорят об „ужасах" в России. Хорошо запомнился один плакат. На фоне развалленных зданий и разрушенных заводов стоит русский крестьянин в красной рубашке: со свирепым лицом, по колено в крови, в обеих руках он держит отрезанные головы.

За широкими зеркальными окнами кафе виднеются довольные лоснящиеся рожи в цилиндрах и с сигарами в зубах. Давно невиданные и забытые картины.

Чтобы показать и дать возможность насладиться зрелищем невиданных большевиков, нас остановили в центре города. Сейчас же собралась огромная толпа зевак, внимательно и враждебно нас разглядывающих. Послышались возгласы:

— Вот они, защитники жидов и коммунистов.

Прокатывались и на счет нашей наружности, почему, мол, нас так плохо одевают и обувают? Хотели в Польше себе завоевать всего?! А того не знали, что благодаря „гостеприимству" их солдат мы были в таком виде.

Затем погнали дальше какими-то мало заселенными закоулками, и таким быстрым маршем, что приходилось чуть ли не бежать. Утешала мысль о сухом помещении и горячей пище. Каково же было наше удивление и разочарование, когда мы снова, покружив по окраинам, вернулись для показа на главные улицы. Очевидно поляки хотели оправдать газетные измышления о нескольких

тысячах пленных и провели нас по городу два раза—авось не заметят, что это одни и те же.

Вспоминается интересная сценка, свидетельствующая о разгуле военщины. Когда нас остановили, напротив из магазина вышел владелец—еврей. Мы попросили у него воды. Через некоторое время он выносит графин, стакан и дает нам пить. Вдруг подбегает какой-то офицер, выхватывает из ножен кинжал, замахивается им на испуганного владельца магазина и вталкивает его обратно в дверь. Вскоре офицер вышел из магазина, черкая что-то в записную книжку. Вся эта история сопровождалась ругательствами и грубыми проклятиями по адресу большевиков.

Потешив жителей города, нас опять повели через мост, на берег Вислы, где мы на мокром песке под дождем и заночевали. Утром нам предложили „угощение"—по четверти шестикопеечной булки и по кружке какой-то мутной жидкости, именуемой почему-то кофе. Разбираться во вкусе и качестве не приходилось, не отказались бы и от худшего, лишь бы чем-нибудь наполнить пустовавший три дня желудок. После завтрака нас погнали в какие-то тупики товарных линий железной дороги. Перед нами стоял состав из платформ с железными бортами, в каких обыкновенно возят уголь. Несколько конвойных вышли вперед и стали кричать по-польски, показывая на платформы. С трудом мы догадались, что эти „международные вагоны" предназначены для наших особ. Напихали нас туда, как селедок в бочку. В дополнение к прочим удобствам на дне оказалась по щиколотку вода. Сверху льет дождик, под ногами вода—положение не из приятных. Пошли в дело осколки бутылок, банки из-под консервов,

кружки „кофейные“, и мы, правда не насухо, выкачали воду. Свистнул паровоз и перед нашими глазами замелькали окраины и предместья негостеприимной Варшавы.

Каждый оборот колеса, каждый промелькнувший верстовой столб отзывался в сердце и отмечал все увеличивающееся расстояние от границы Советской России, от товарищей, от родных заводов. Постепенно тоскливое настроение сменяется чувством любопытства. Стали присматриваться к городам, деревням, полям, мимо которых проезжали, к жизни новой для многих страны. Нужно отдать справедливость полякам—чистота у них образцовая. Сколько мы ни ехали, я не видал нигде ни беспорядочно наваленных камней, ни клочков бумаги, ни даже окурка. Все время тянется как по ниточке ровной насыпью желтый песок, на станциях и того лучше — белизна, порядок и чинное спокойствие. Невольно в голову лезет сравнение с нашими железными дорогами. Представляешь себе жизнь наших станций, где сейчас, наверно, полно мешочников, которые, сидя на мешках, пьют чай, закусывают, спят, ловят вшей, пол весь в остатках пищи, заплеван, засыпан окурками махорки.

Но пустой желудок не молчит. Голод нагоняет разные мысли, мысли о борьбе; всплывают в памяти озлобленные сытые рожи варшавских панов, оплевывавших нас потоками брани.

Вот, наконец, и остановка.

Идем получать обед. Но... меню то же самое, что и на берегу Вислы: на слоновый аппетит та же мышиная порция.

Трогаемся дальше. Уже больше ничего не интересует.

Холодно. Все прячутся от встречного ветра и теснее прижимаются друг к другу. Под мерное однообразное

покачивание и стук начинаем дремать. Станция. (Она оказалась последней). Быстро вылезаем и сразу попадаем на чистые улицы спящего городка. Нигде ни одной души. Пройдя несколько переулков этого как-будто заколдованного города, выходим на миниатюрную площадь, окруженную каменными стенами как-будто призрачных домов.

Небо в низких черных тучах. Темень.

На площади нас построили по четыре человека в несколько колонн и приказали в таком порядке сесть на мостовую. Здорово хотелось курить. У кого-то нашелся старый тростниковый мундштук, полный осевшего в нем никотина. Мелко раскрошив его, завернули в газету и с жадностью в круговую раскурили. Через некоторое время в черной дали показались колыхающиеся точки огня. Шло начальство. Свет факелов отражался на блестящих мундирах, беспокойно лизал темное покрывало ночи, отбрасывая страшные тени приближавшихся людей.

Напряженное молчание и тишина. Начальники стали ходить по рядам, пристально вглядываясь в лица, предупредительно освещаемые солдатами.

— А-а-а, жид! Выходи сюда!—Из рядов поднялся какой-то человек и подошел к группе. Тотчас на его лицо посыпались удары палок. Тишину прорезал крик мучительной боли, прерываемой ругательствами.

— Пся крев! Жид! Показывай коммунистов и комиссаров!!—Снова удары палок и рукояток револьверов. Не могу сказать, сколько выбрали из нашей партии, неизвестна также и дальнейшая судьба их.

После этой сцены нас повели на предназначенное нам местожительство, т.-е. в лагеря для военнопленных, находящиеся в двух верстах от города. Ухабистая, грязь-

ная, размытая дождями дорога вела туда, путаясь среди редкого леса. В темноте несколько раз натыкались на проволочные заграждения, обходили, нагибались, сбивая ноги, царапая себе спины. Наконец, влезли в какую-то дыру, где и проспали мертвым сном остальную часть ночи. Лагеря мы рассмотрели только поздним утром. Только тогда мы поняли, в какую берлогу нас упрятали. Эти лагеря занимали довольно большую площадь и были распланированы на квадраты. В каждом квадрате было по четыре землянки, человек на полтораста каждая. Разделялись квадраты двойным забором из проволочных заграждений вышиною в полтора человеческих роста, между которыми в проходах ходили часовые. Первое, что мы услышали, было сообщение, что к забору ближе, чем на пять шагов, подходить нельзя, иначе часовые будут стрелять без предупреждения.

В различных частях лагеря стояло несколько вышек с прожекторами, которые зажигались на ночь (по всей вероятности на вышках имелись пулеметы). Кругом всего лагеря, вплоть до опушки, были навалены беспорядочной кучей еще проволочные заграждения, где сам чорт не пролез бы и оставил бы свою шкуру. Теперь о самих помещениях. Это были вырытые в земле ямы в вышину роста человека, над которыми на уровне земли возвышалась худая, как решето, прогнившая крыша. Ни нар, ни какой-либо подстилки, только земляные стены и пол, всегда сырой. Спать приходилось завернувшись в потрепанную, видавшую виды шинелишку, тесно прижимаясь друг к другу. Вот и весь комфорт нашего жилища. Теперь относительно пищи. На весь день давали по три четверти совершенно сырого, кисло-горького с высевками хлеба.

Хлеб этот не жевался, а расплывался, как тесто, склеивая весь рот, застревая в горле. Утром по кружке тепловатой, мутной жидкости, называемой кофе, в обед суп из фасоли по пол-котелка на человека, вечером, на ужин, опять „кофе". Паек так и остался без изменений на все время нашего плена. Ясно, при таких условиях от простуды и на почве недоедания начались повальные болезни. Каждый день в лазарет уходило по несколько человек. Как там лечили—не знаю, мне лично не пришлось воспользоваться услугами польского лекаря.

Однажды нас собралась группа ребят, наиболее близко и тесно ужившихся за время наших скитаний. Как водится, закурили, наскребли на компанию козью ножку. Разговорились: кто о родной и далекой России, кто о близком окончании войны и об обмене военнопленными; в общем, кого какие мысли мучили, тот делился со всеми и находил поддержку и ободрение в общей беседе. Среди нас был один товарищ, которому были немного знакомы здешние места Он предложил бежать. План побега он уже разработал. Шопотом он сообщил его нам. Состоял он в следующем. Сделать подкоп до ближайшей точки—опушки леса—за проволочные заграждения. Прорыв такой туннель и очутившись в лесу, выбраться по туннелю и, держа курс на заход солнца (где должна быть по расчетам товарища граница), итти в Германию. Мне план показался мало осуществимым. Во-первых, если все благополучно и вылезем на волю, то у нас не будет еды; итти придется все время скрываясь и далеко обходя жилые места; во-вторых, мы точно не знаем, сколько километров до границы, и, в-третьих, удастся ли вообще ее перейти. Моих доводов никто и слушать не хотел. Все

с жаром уцепились за план и решили более тщательно разработать, а затем при благоприятных условиях и начать его осуществление. Успокоенные и довольные этими обсуждениями и мелькнувшей надеждой на свободу, разошлись спать.

Снова потянулись монотонные, полуголодные, скучные дни. Чтобы занять чем-нибудь время, я стал писать дневник. Многое бы сейчас из него можно было бы взять хорошего и интересного, но его, к сожалению, пришлось разорвать, потому что наша дальнейшая судьба неожиданно изменилась.

В одно прекрасное время в землянку пришел часовой и начал выгонять всех во двор строиться. Через несколько минут, в сопровождении польского офицера, к нам подходит старик с длинной седой бородой, одетый в английскую шинель и зеленую шапочку „пирожком", на которой блестит кокарда (скрещенные кости). Приблизившись к нам, старик поздоровался—„здорово, братцы". Вразброд ответило несколько голосов. Старик криво усмехнулся и елейным голосом обратился к нам с речью.

Дословно я ее не помню, но она сводилась к следующему:

„Ребята, в Москве засела кучка жидов и коммунистов, которые надругаются и продают Россию. Мы пойдем их бить, чтобы освободить святую Русь от их власти и дать вам спокойную жизнь и отдых. Для этой цели вас берет под свое покровительство генерал Булах-Балахович и накладывает на вас честь совершения этого великого дела".

В заключение он сказал, что нас накормят, оденут и в скором времени отсюда возьмут. Затем, попрощавшись, он ушел. Возбужденные, расходились мы по землянкам, не

от его речи, конечно, а от близкой перемены жизни. Все были радостны не от „великой чести“, накладываемой на нас генералом Балаховичем, а от недалекого возвращения домой, в Советскую Россию, по которой все стосковались и в которую с нетерпением рвались, чтобы избавиться от лагерной каторги.

Итак, мы будущие „белогвардейцы“ и „враги“ советской власти.

* * *

Недолго мы были „под покровительством“ освободителя „святой Руси“: в одном из боев мы, воспользовавшись замешательством, перекинулись к своим.

Мы снова советские.

В. ШТЕВЕН

МАХНОВЩИНА

(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ)

Наш отряд особого назначения стоял на небольшой станции Чертково, Юго-Восточных ж. д., Харьковской губ.

Помню появление банды Махно в селе Маньково, в семи верстах от нашей станции. Надо готовить отпор.

Созвали общее собрание РКСМ и РКП(б) (вместе всех нас насчиталось семьдесят пять человек) и решили расставить заставы и об'явить местность на военном положении. После собрания всем роздали винтовки, револьверы, патроны и мы пошли на дежурство: кто в заставы, некоторые в дозоры, а остальные на станцию для внутренней охраны.

Вооружены мы были очень скверно, у нас даже пулемета не было; было, правда, автоматическое ружье, но нас это совсем не устраивало. Дежурили не по два часа, а до тех пор, пока могли стоять на ногах, хотя и питались мы скверно: в дозор идешь, а в животе пусто. Но ребята духом не падали и все приказания начальства исполнялись в точности.

Так мы продежурили семеро суток, никакого столкновения с бандитами не имели, кроме одиночных стычек. Кроме исполнения военных обязанностей, нам приходи-

лось работать еще на железной дороге, так как железнодорожников было очень мало. В отряде у нас было два взвода и мы обычно так распределяли работу: один взвод несет военную обязанность, а другой взвод с винтовками за плечами нагружает уголь на паровозы.

Однажды меня командировали в г. Воронеж за литературой. На раз'езде Зариновка, километров 12 от Черткова, нас неожиданно встретили бандиты. Банда очень сильная, хорошо вооружена, несколько пулеметов.

Поезд остановился, дальше ехать нельзя. Пути взорваны. На поезд направлены пулеметы. Начинается грабеж. Я успел некоторые документы разорвать, а удостоверение, которое было у меня взамен членского билета, хотел проглотить, но в это время один из бандитов увидел и огрел меня плетью, будто раскаленным железом. После второго удара я потерял сознание. Я упал тут же на месте. Очнулся часа через два. Ограбление уже кончилось. Налетчики изрубили девятнадцать коммунистов и человек тридцать взяли в плен. Бандиты намеревались пустить поезд по разобранным рельсам, но после долгих уговоров железнодорожников поезд был оставлен в покое.

Я пешком вернулся к себе на станцию. Наш отряд ничего не знал. Было прервано телеграфное сообщение. После моего сообщения на место налета отправили взвод—отряд. С тяжелым чувством мы встретили подводы с зарубленными товарищами. Позже снова наступило затишье.

Но однажды, когда я сидел в агитпункте за работой, часа в два дня, вдруг вбегает начальник хуторской милиции (хутор этот был от нас в трех верстах) и заявляет, что на хуторе бандиты перерезали всех милицione-

ров, ему одному только удалось спастись. Я закрыл агитпункт и побежал к начальнику отряда. Сейчас же была дана тревога. Не прошло и пятнадцати минут, как все были собраны в полной боевой готовности. Начальник отряда предупредил, что бандитов больше ста человек. Опасность велика. На все это ребята дружно ответили:

— Желаем итти немедленно в наступление.

Но бандиты предупредили нас, телеграфное сообщение было уже порвано, рельсы разобраны.

Мы двинулись в наступление. Не отстали и женщины-партийки. С одной стороны станции мы отправили свою маленькую кавалерию с автоматическим ружьем, а с другой стороны пошли ребята с двумя подводами, наполненными патронами.

Местность была гористая. В одном бараке мы подводы с патронами оставили (охраняли их партийки, вооруженные двумя бомбами и карабином). Только мы вошли на горку, как нас стали обстреливать с двух сторон пулеметным огнем. Мы получили приказание рассыпаться в цепь и отстреливаться; минут двадцать шла горячая перестрелка. Бандиты пустили кавалерию, но в это время и наша с бешеным криком выскочила и ударила им в бок. Налет нашей кавалерийской группы был так силен и смел, что второй атаки бандитов отбивать не пришлось. Они даже не пытались вернуться за своими убитыми и ранеными.

Коммунистический отряд оправдал свое назначение.

С. ЩЕГОЛЕВ

ИЗ-ПОД РАССТРЕЛА

Гулкий раскат орудийной канонады и сухой треск винтовок наполняли воздух; знойный, он казался от этого еще более раскаленным. Порывы подхватывали горячую пыль и жара становилась нестерпимой. По широкому Варшавскому шоссе, как лава с взорвавшегося вулкана, вздымая пыль, бесконечным потоком текла человеческая масса. С шумом двигалась артиллерия. Громко ударялись о камни колеса орудийных станков, покачивались длинные, как слоновые хобота, жерла орудий. Обгоняя друг друга, под лязг стесавшихся подков, на взмыленных до-бела лошадях, пропитанные потом и грязью, заломив набекрень фуражки, скакали кавалеристы. Понуря голову, вразброд шли красноармейцы. Серые от пыли, они жались друг к другу, шарахались из стороны в сторону, пропуская артиллерию и конницу. Раненые тащились тут же; боясь отстать от своих, они испуганно оборонялись, защищая почерневшие от крови и пыли бинтовые култышки. При каждом орудийном ударе сотни голов поворачивались назад, движение на минуту задерживалось, люди сбивались в кучу и затем снова толкаясь, спеша двигались вперед.

Людскому потоку не было конца. Я продвигался с трудом, беспрестанно сворачивая в сторону, прыгая

через пласты развороченной земли. Иногда мое необычайное движение вызывало на серых, сосредоточенных лицах улыбку недоумения, удивления. Некоторые бросали вопрос, скорее так, про себя, и, не дождавшись ответа, уходили дальше.

— Ты куда идешь?—спросил меня молодой красноармеец, поправляя сбившуюся с руки повязку и впившись глазами в висевшую у меня на боку фляжку. Не дожидаясь ответа, он хрипло протянул:

— Испить бы... Один разок глотнуть...

— В часть иду...—ответил я, подавая фляжку с прокисшей, тухлой водой, набранной в торфяном болоте.

Заскорузлые пальцы красноармейца вцепились в сукно фляжки. Запрокинув голову, он забулькал водою.

— Значит, в часть идешь?—отнимая от потрескавшихся губ пустую фляжку, весело произнес он.

— Да, в часть...

Возле нас тяжело дыша остановилась рыжая лошаденка, безнадежно перебирая дрожащими ногами. На повозке лежали раненые. Мутные глаза их тянулись к фляжке,— беззвучно шевелились губы. Я с злобой швырнул ненужную жестянку и, спотыкаясь, двинулся дальше.

— Но, но! – В воздухе свистнула сосновая палица и выровнялась по сухим ребрам лошаденки. Она рванулась и повозка с грохотом покатилась по камням. Догоняя, путаясь в длинной белой рубахе и размахивая палицей, побежал мужичок.

Напрягая все силы, я бежал вперед—к Островскому лесу.

„Скорей бы в часть. В часть обязательно" — заряжал я себя, стараясь заглушит вопросы:

— Куда идешь?...

— Он сумасшедший...

— В лапы к белым идет.

— Задержать его?

— Чорт с ним...

С упорством отмахиваю километры.

Шесть.

Десять.

Двенадцать.

Я подходил к городу Острову.

Итти далее становится невозможным. Кругом свистят пули, ударяясь в мостовую, вздымая пыль.

„Назад"—проносится в голове. „Все равно бесцельно".

— Стой! Куда тебя чорт несет? Или жить надоело?

Какой-то командир грубо остановил меня.

— Разве не видишь, все...

Совсем близко застучал пулемет, заглушив слова командира. Рядом, взвившись на дыбы, грузно упала лошадь, забилась и перевернула бричку. На мостовую с шумом посыпались патроны, оружие, телефонные аппараты. Не знаю зачем, я поднял упавший коммутатор, повертел его в руках и, внимательно разглядывая, спокойно зашагал дальше. С левой стороны по вспаханному полю редкой цепью двигались поляки.

„Раз... два... три... восемь",—считал я. Оглянулся. Далеко по шоссе уходили последние из отступавших красноармейцев.

Поляки, держа винтовки наперевес, подвигались все ближе. „Бежать. Бежать". Эта мысль сверлит мозг. Сердце рвется наружу, но нет никакой силы оторвать ноги от земли. „Поздно"—проносится мысль. „Нет"—

чуть не вскрикиваю я, выходя из секундного оцепенения, швыряю коммутатор и закладываю капсюль в граненую бомбу. Со стороны поляков летят какие-то окрики... Выстрел. Пригнувшись, бегу, бросаю бомбу.

Выстрелы покрываются оглушительным взрывом. Впереди взлетает занавес перемешавшейся земли и дыма.

Не теряя ни секунды, бросаюсь в ту сторону, куда исчезли красноармейцы.

* * *

Только к ночи добрался я до какой-то деревушки. Решил остановиться и попросился переночевать в первой попавшейся избе.

Пожилая женщина соболезнующе осмотрела меня (от усталости я еле держался на ногах) и отвела в сарай. Ощутив под головой пук соломы, я моментально заснул.

* * *

Со скрипом открылись ворота.

— Товарищ, а товарищ... - сквозь дрему услышал я.

— Поляки прийшли... тикайте, товарищ...

Но нет сил понять ужас этих простых слов, не хочется думать ни о чем, усталая голова падает на солому. Заснуть все же не пришлось. Совсем близко слышится пронзительный крик и вслед за ним поток отборной ругани.

— Прикладом его...

Вскакиваю, осторожно пробираюсь к бревенчатой стене. На дворе драка: несколько поляков стаскивают с пленного красноармейца сапоги

Быстро осматриваю внутренность сарая, растерянно бросаюсь из угла в угол.

„Скорей бежать, бороться... Ведь расстреляют... На мне брюки галифе с красными кантами, в кармане партбилет, удостоверение комвзвода... Достаточно улик".

Несколько раз сорвавшись, влезаю наверх соломы, под крышу сарая. Сквозь трухлявые доски видна зеленая гладь луга, который тянется к густому сосновому лесу. Расстояние до него с версту, не более.

Хочу прыгнуть, но неожиданно останавливаюсь. По лугу, на взмыленных лошадях, вслед за мальчишкой, тянущим за собой корову, несутся два кавалериста. Один из них соскакивает с лошади, набрасывается на мальчишку и хлещет его по лицу, крича во все горло:

— Бельшевик! Бельшевик!

„Тем лучше. В суматохе не заметят"—думаю я. Прыгаю вниз. Напрягая все силы, не видя ничего кругом, бегу в лес. „Заметили"—догадываюсь я, когда вслед за первым выстрелом раздается беспрерывная стрельба. Лес уже совсем близко,—всего несколько саженей. Корявые лапы сосен тянутся ко мне... Но вдруг оступаюсь и падаю в темную пропасть.

* * *

„Где я?"—долго не могу припомнить, что со мной случилось.

„Кавалеристы... Стрельба..."

Левая рука ноет и не могу пошевельнуть ею. Кругом темнота. Я прислушиваюсь, вглядываюсь в темь. Вот снова откуда-то тянутся стоны, сначала тихо, нудно, затем все сильнее и чаще. Крик прорезывает темноту и быстро обрывается.

— Тише, чорт...

— Чтоб им...

Эти слова приводят меня в сознание и я вспоминаю луг, поле, стрельбу. Здоровой рукой я ощупываю себя. Раздет до гола — одно нижнее белье. Тысячью иголок пронизывает тело холод и я уже не рад, что очнулся. Пытаюсь согнуться, чтобы хоть чуть согреть иззябшее тело, но с криком опускаю ногу и застываю в прежнем положении.

Назойливо лезут в уши стоны и обрывки шопота.

— Меня так ударил, сукин сын, думал, череп лопнет...

— Политрука расстреляли... тех восьмерых нынче наверно тоже пристрелют... коммунистов всех стреляют...

„Значит и меня“ — отчетливо бьется в голове мысль.

* * *

Бледная заря заглядывает в щели сарая. Становится совсем светло и я разглядываю лежащих вокруг людей. Никто наверное не спит, но все лежат неподвижно, скрючившись от утреннего холода. Многие так же, как я, в одном нижнем белье, другие в летнем обмундировании, изорванном и грязном.

Зубы неудержимо прыгают, выколачивая частую дробь. От холода тело сжимается—кожа ноет мучительно.

Сквозь щели сарая видно, как за стеной расхаживают часовые. Резким, холодным блеском сверкают штыки их винтовок и это снова поднимает волну злобы, простой животной злобы..

От тяжелых мыслей меня пробудил окрик часового, распахнувшего ворота. Отлежавшись, хотя и в холоде, я чувствовал себя бодрее.

Тяжело вставали красноармейцы. Вздрагивая от холода, по одному выходили они во двор и, сгорбившись, останавливались перед конвоем.

Нас, восемь коммунистов, выстраивают отдельно. Конвой для нас усиленный, не меньше, как по пять молодцов на одного.

Офицер, сухой как тарань, что-то по-польски говорит начальнику конвоя. Затем он о чем-то разговаривает со старшим офицером, который мягко покачивает головой, довольно поглаживает грудь, увешанную медалями. Говорят по-русски. „Сухой“ офицер подходит к ним и по-русски насмешливо говорит:

— Итти далеко... пусть они побудут посвободнее... (не связывать, иначе говоря).

Начальник конвоя судорожно прикладывает руку к четырехугольной фуражке и подает команду.

Молча мы шагаем к виднеющемуся впереди знакомому лесу. Конвоиры сумрачны и видимо недовольны. Сурово сдвинув брови, смотрят себе под ноги. Одно за другим появляются несбыточные предположения, цепляешься за каждый взгляд, брошенный исподлобья каким-нибудь конвоиром.

Моментами торжественность шествия кажется нелепой, хочется смеяться, но мысль о нашей вероятной участи приводит в прежнее состояние.

Впереди шоссе, за которым начинается лес. Дойдя до шоссе, мы останавливаемся. По дороге от Белостока к Домброву ведут пленных красноармейцев. Не обращая внимания на конвой, кричим, машем руками. Красноармейцы оборачиваются, отвечают, махая фуражками; чей-то красный платок взлетает над штыками, но, не долетая до нас, исчезает в канаве.

Вот и лес. Останавливаемся на опушке. Кроме нас и конвоя, у леса собралась еще публика—жители местечка. Охота посмотреть интересное зрелище волнует их; некоторые нервно выспрашивают у конвоира—скоро ли начнут.

Мы, конечно, меньше всего интересовались этим зрелищем; каждый думал о том, как бы лучше всего воспользоваться моментом и бежать.

Нас, к плохо скрываемой радости, оставили одних. Зрителей, жаждавших нашей крови, прогнали обратно в деревню, а конвоиры довольно беспечно расположились невдалеке, развалившись на скошенном ячмене. Они закурили и не то ехидно, не то добродушно посмеивались, кивая в нашу сторону. „Дескать, чего ждете—бегите".

Обманывать себя добродушием врага—последнее дело, но мы все же пошли на это: был хоть какой-то шанс на жизнь.

Разом, как по команде, вскочили мы и кинулись в лесную чащу. Загремели выстрелы. Очевидно конвой достаточно был пропитан большевистским дегтем, так как от выстрелов никто не пострадал.

От страха и радости я растерялся и не заметил, как отбился от товарищей и бежал один, шарахаясь от каждого куста, чуть-чуть похожего на человека.

* * *

Много часов бежал я почти без отдыха. На пути нередко попадал под обстрел: по шоссе то-и-дело проезжали польские отряды, двигавшиеся на позицию. Верховые, пришпорив лошадей, пускались за мной, и, если бы не лес, не миновать бы мне вражеской пули. В глухих деревушках жители, завидев меня раздетого, с испугом прятались

по избам и мои попытки разузнать дорогу были безуспешны.

Возле одной деревни я неожиданно наткулся на кучку вооруженных чем попало людей. Впереди них, на вислопузой лошаденке скакал седой крестьянин, без шапки, вооруженный длинной дубиной. Я, не останавливаясь, продолжал бежать навстречу всаднику, размахивая в воздухе консервной банкой, подобранной по дороге.

Метрах в тридцати от меня всадник круто повернул лошаденку и во всю прыть помчался обратно. Собрав все силы, я бросился за ним вдогонку, решив во что бы то ни стало догнать его и хоть под угрозой смерти разузнать дорогу на Осовец. При моем приближении мужики и всадники бросились в разные стороны. Всадник что-то испуганно заголосил и слез, вернее скатился с лошади. С видом победителя я остановился и решительно поднял над головой „бомбу". Мужики со страхом и удивлением глядели на мое голое, исцарапанное тело и испуганно косились на поднятую руку, в которой была зажата консервная банка.

Один из них осмелел и смущенно об'яснил:

— Нам сказывали задерживать всех бандюков (бандитов) из коммунии...

— Вот наши мужики и выехали на бандюков ..

Не особенно доверяя силе своей „бомбы", я наврал мужикам, что меня самого ограбили и раздели бандиты. Наврал я так складно, что старик из этой „боевой" дружины взялся проводить меня до следующей деревни к своей замужней дочери. На прощанье я подарил мужикам „бомбу".

Разглядев „бомбу", мужики поняли обман и чуть было не намяли мне бока.

Дошли мы со стариком благополучно.

После долгих „охов“ и „ахов“ я, наконец, кое-как был одет и с наслаждением отдыхал. Вся изба, куда привел меня старик, была завалена пахучими яблоками и я, закусив миской горячего варева, уничтожал сочные, красно-бокие яблоки, которые одно за другим подносил мне старик, уговаривая с'есть „еще одно—самое наилучшее“.

Старик, хотя и шел ловить „бандюков из коммунии“, оказался своим человеком. Я рассказал ему все начистоту. Старик рассмеялся:

— Вот оно отчего я от тебя ускакать не мог! От смерти бежал...

Расспросив о местности (деревня, где я находился, была в 80 километрах от места плена) и о дальнейшей дороге, и распрощался с хозяевами.

На шестой день со дня побега я дошел до Гродно. Здесь стояли наши войска.

М. ГАВРИЛИН

НА УБОРКУ ХЛЕБА

Июнь месяц, дня не помню; производил починку вагона на линии. Только стал запиливать шейку оси, приходит мастер Степанов и говорит:

— Мишка, в мастерской союз молодежи организуется...

— Какой союз?

— А против попов и буржуев...

Этого было достаточно, чтобы бросить работу и помчаться на сборище.

Молодежи собралось человек тридцать. На повестке дня стояло два вопроса: организация ячейки коммунистического союза молодежи и запись в хлебоуборочный отряд на работу в прифронтовую полосу. Докладчиком был организатор железнодорожного района т. Баринов.

Запомнилась быстрота, с какой решались тогда вопросы. Никаких длинных речей, лишних разглагольствований, все сейчас же, на месте.

Товарищ Баринов коротко раз'ясняет задачи и цель союза, и тут же в союз вступают почти все присутствующие.

По другому вопросу т. Баринов обрисовывает положение республики, голод и меры борьбы с ним, говорит об организации хлебоуборочных отрядов.

И здесь молодежь решила:

„Вступить в отряд всей ячейкой". Все тридцать человек, как один, согласились ехать.

Отправка в этот же день, в два часа. Получаем расчет и летим домой собираться.

* * *

Дома у меня не совсем благополучно—заболела мать. Чтобы не расстраивать ее, решил ничего не говорить. „Уеду, а потом сообщу". Мать заметила суету:

— Ты что делаешь, Миша?..

Сразу растерялся.

Начал врать:

— В баню иду, на железку...

— А ботинки зачем? Разве в баню другие ботинки требуются?

Этим вопросом она сбила меня окончательно. Делать нечего—надо говорить правду. Рассказываю, что записался в союз и что сейчас отправляюсь с отрядом в Оренбург на уборку хлеба. Мать так и ахнула:

— Да что ты, полоумный?.. А семья как?...

Из семи человек я был единственным работником в семье, но „пятиться" было не время. Начинаю уговаривать:

— Жалованье и паек будете получать, а остальное... как-нибудь...

Мать в рев. Прибежали сестренки—тоже. Я стараюсь скорей уложить вещи.

Мать, видя, что слезы не помогают, решила действовать силой. Ухватилась за мешок.

— Не пущу...

— Так уеду!

Хватаю мешок и тягу. Прибегаю в райком, все уже в сборе—готовятся уходить. С песней трогаемся к Московскому Комитету большевиков.

* * *

По пути к Леонтьевскому переулку к нам примкнули ребята других организаций. Всего нас собралось около полутора тысяч человек. Все радостны, веселы—ни одного угрюмого, скучного лица. Песни, смех, шутки веселым гулом кружат голову.

Ждем минут двадцать. Некоторые начинают роптать:

— Чего там канительничают, скорей бы...

— Когда ж отправка?

Организаторы успокаивают. Наконец из окна кричат—зовут в помещение. Входим.

Один из членов Московского Комитета говорит напутственное слово.

Под звуки „Интернационала", колоннами по пять человек, выходим и отправляемся на вокзал.

* * *

Дорога до Оренбурга—далекая. Ехать несколько суток.

Через несколько пролетов получаем хлеб, селедку, махорки.

Еда поднимает настроение:

— Даешь плясунка...

— Русского...

Колька с Сережкой пустились в пляс.

Так до самого Нижнего: песни, пляска, смех. Весело ехали.

Перебраться через Волгу в этот день не удалось.

В нашем распоряжении почти сутки. Ждать на станции неохота, пошли в город: кто на ярмарку, кто на пристань, кто куда. К вечеру собрались и все вместе, отрядом отправились в цирк. Программа была длинная, затянулась—пришли поздно. Сразу легли спать.

На утро—отправка. Только вскочили—сразу собираться. Поднялась суматоха. Быстро упаковываем свои вещи. Несется команда коменданта:

— На пароход!

Грузимся.

Запас хлеба и денег иссяк. Подыскиваем для обмена продукты.

Сережка предложил пару белья.

— Есть пара белья! Колька, старый пиджак!

— Есть старый пиджак!

А у меня ничего не было—все на мне. Не обиделись.

— „Нет, так не надо, другую найдем"... пропел Кузнец.

Пошли загонять. Притащили кринку молока, сала и буханку хлеба. Подкрепились, веселей стало.

Пароход двинулся к Самаре. Едем, тихо покачиваясь на волнах. Ночью погода резко изменилась. Пошел дождь. Мы спали как убитые. Дождь полил сильнее. На палубе стала собираться вода. Почувствовав, что меня обдает чем-то холодным, я вскакиваю и вдруг слышу близко, рядом—крик:

— Помогите! Тону!!

Вижу: у самого края борта в воде барахтается Колька, машет руками и кричит о помощи. Ничего не пойму. На крик прибегает матрос, хватает Кольку за шиворот и ставит на ноги. Сбегаются ребята. Колька стоит испуганный, смущенный. Кругом гомерический хохот.

— На палубе потонул!..

Дело об'яснилось просто. Дождь нагнал массу воды на палубу и когда пароход накренил на левый бок, вся вода скатилась на нас. Я лежал выше от борта, поэтому меня только окатило. Кольку же, лежавшего у самого края,— залило совсем.

Этот случай смешил нас несколько дней.

На третий день прибыли в Самару. Снова на вокзал, в теплушки и на Оренбург.

Колчак к этому времени был отогнан в Тургайские степи, и мы ехали работать на отобранных у него полях.

Приехали в Ново-Сергиев. Тут сменили паровоз и отправились дальше. Но куда, мы узнали только на другой день. Дело было ночью и угадать, куда мы едем, было трудно. Когда же утром мы выскочили из теплушек, то узнали знакомую самарскую станцию.

В Самаре нам пришлось простоять три дня. На четвертый день нам об'явили, что в отряде оставят только триста человек, остальные могут отправиться обратно в Москву. Устроили собрание. После долгих споров, согласились. Наш вагон целиком (кроме одного т. Безрукова) решил ехать куда угодно, только не в Москву.

После того, как лишние уехали в Москву, мы получили приказ грузиться на пароход „Лев Троцкий" для отправки в г. Покровск.

В это время в самарском порту грузился пароход со снарядами. Мы находились на пристани, дожидаясь своей очереди. День был жаркий. Все ребята поснимали верхнюю одежду и разлеглись отдыхать. Я также лег и вскоре заснул. Вдруг чувствую сквозь сон, что кто-то наступил мне на ногу. Проснулся. На пристани паника—крики,

шум. Спрашиваю—„Что такое?“ Оказывается, в трюме парохода со снарядами загорелась солома и это грозит взрывом. Вместе со всеми бросаюсь из порта. Выбегаем, ложимся на землю. Ждем. На берегу тишина. Так несколько минут. Наконец, капитан парохода, поднявшись на мостик, сообщает, что опасность миновала.

Вечером отправляемся в Покровск.

В Покровск мы прибыли скоро. Дав отдохнуть сутки, нас отправили на работу, разбив на группы. Нашим ребятам с железки достался Красный Кут. Другие поехали в Новоудинск, в Пугач; некоторые остались в самом Покровске.

В Красном Куте наша группа явилась в райпродком, в распоряжение военачальника. Военачальник об'явил нам, что желающие могут держать экзамен, придется отправиться на опытное поле. Держало нас 30 человек, выдержало 14, в том числе и я.

Стали раз'езжаться. Мне достался Алексашинский район.

* * *

Прибыв в район, я представился местным властям и приступил к работе.

Мне было поручено собрать в Алексашинском районе сто тысяч пудов пшеницы к концу навигации, т.-е. к 15 ноября.

Но как выкачать сто тысяч пудов хлеба?—вот вопрос, который необходимо было быстро решить. Вызвал к себе в управление представителей крестьянства и раз'яснил им положение. Не споря, они согласились с предложенным обложением.

Начался подвоз хлеба. Когда была сдана первая партия — тысяч двадцать пудов, я стал выплачивать по кви-

танциям деньги. Здесь получился ряд конфликтов. Деньги многие не брали—требовали мануфактуры, стекла. В конце концов, соглашались, но все же уходили недовольными.

К двадцать первому октября наряд в сто тысяч пудов был выполнен полностью.

После этого я занялся работой хозяйственной и по борьбе с дезертирством.

Помнится: в управление явилась делегация с требованием достать стекло. Стекла не было. Много говорили им, доказывали, что сейчас ничего нельзя сделать. Не соглашаются. Тогда решили собрать сход.

В ближайшие дни сход состоялся. Докладчиком выступил я. Стал разъяснять, что сейчас в республике стекло не вырабатывается, из-за границы тоже не получаем. Надо немного обождать. Поднялся шум.

— Как же без стекла?..

— Что ж, окна заколачивать?..

Неожиданно у меня блеснула мысль, которая на некоторое время спасла положение. Я предложил вынуть стекла из иконостасов. На этом, в конце концов, и сошлись, хотя много было криков о богохульстве и пр.

В таких условиях протекала наша работа.

А. ШАДУРИ

В ГОРАХ КАРАЧАЯ

„Бывали дни веселые, гулял я молодец",—раздавалось в товарном вагоне продотрядцев. Они ехали из Ингушетии в Кабарду.

Это был продотряд № 3.

Он насчитывал одиннадцать комсомольцев. Большей частью они были из Южной Осетии (Грузия).

Дело в том, что до 1921 года в Грузии царствовало меньшевистское правительство, всячески притеснявшее как грузин, так и осетин. Это послужило причиной восстания крестьян Южной Осетии. В неравной борьбе восстание было жестоко подавлено. Запылали огнем сакли осетин. Немало восставших живыми было брошено в утробу огня. „Меньшевистские казаки"—народогвардейцы—не знали пощады.

Осетины вынуждены были бежать под защиту соввласти в Терскую область.

Большинство комсомольцев нашего отряда были беженцы. Они часто говорили мне: „Все равно советская власть победит и в Грузии, мы при первом же выстреле против грузинских меньшивиков будем там, в рядах сражающихся". Это обещание они очень скоро выполнили.

Это произошло так.

Стояла холодная зима. Мы находились в ингушском селении (ингуши—племя горцев Кавказа) Базоркино.

Помещение, занятое нами, напоминало скорее хлев, чем человеческое жилище. Пол был земляной, двери с просвечивающими щелями, окно, залепленное газетной бумагой, едва светило. Отовсюду, посвистывая, дул ветер. Никаких нар у нас не имелось, спали на соломе.

В один из вечеров мы, полулежа на соломе, от „нечего делать" рассказывали разные истории. Керосиновая лампа без стекла тускло освещала мерцающим светом наше жилище. На дворе завывал ветер, то-и-дело пытаясь открыть дверь. Вдруг к нам вошел один из продотрядцев, который накануне был послан по делам в Нарзань.

— Ну что, газету привез?—спросили мы почти в один голос.

Приехавший достал из кармана смятую газету, предварительно попросив закурить.

— Андрюха! Читай вслух, что нового,—обратились ко мне ребята.

Я подошел поближе к лампе. Первое, что бросилось в глаза, это слова, напечатанные жирным шрифтом: „Восстание в Грузии". Я прочитал это. Лежавшие до того на соломе осетины-продотрядцы в один миг окружили меня и все превратились в слух. Газета принесла им дорогую весть.

„Под руководством компартии, в Грузии произошло восстание против социал-предателей. Красные повстанцы успешно занимают все новые и новые места",—читал я.

— Ура! — как бы сговорившись, загремели молодые голоса.

Этим „ура" было сказано все. В „ура" слышалась радость, месть, злоба и готовность на борьбу.

В ту же ночь из продотряда исчезли почти все осетины-комсомольцы. С ними исчезли и их винтовки. Как оказалось впоследствии, они пошли пешком из Базоркина к Дарьяльскому ущелью, где укрепились ненавистные им народогвардейцы.

Таким образом, число комсомольцев в продотряде № 3 с уходом осетин значительно уменьшилось. Но мы не могли осуждать убежавших.

* * *

Много мы натерпелись в Ингушетии: голод, холод, тяжелая работа, полная препятствий. Нам ведь приходилось работать не только по сбору разверстки, но и вести борьбу с бандами, с самогонщиками и пр. В особенности нас недолюбливали, конечно, кулаки.

Что касается крестьян-бедняков, то и среди них было немало настроенных против нас. Это об'ясняется тем, что в местные органы власти—в исполкомы—часто попадали антисоветские элементы, которые давали неправильные сведения о материальном состоянии крестьян и таким образом направляли нашу работу против крестьян-бедняков. Нужно также отметить еще одно обстоятельство, настраивающее крестьян против продотряда. Дело в том, что руководителями продотрядов часто назначались люди, не знавшие местных обычаев, традиций и т п. Понятно, что у них не было соответствующего подхода. „Цель оправдывает средства“,—вот под каким лозунгом приходилось работать. Но часто эти „средства“ кончались очень плохо. К нам доходили слухи, что во многих местах находили агентов-контролеров, а также рядовых продотрядцев с распоротыми животами, наполненными хлеб-

ным зерном. Часто на шинели несчастного была приколота булавкой бумага с надписью „жри, собака, наедайся".

От таких случаев ни один из нас не был гарантирован, тем более коммунисты и комсомольцы. Но мы продолжали вести свою работу, зная, что этим будет обеспечена победа на внешних военном и трудовом фронтах. Для этого приходилось итти на подчас и для нас самих неприятные средства.

И вот этот продотряд, проработав пять месяцев в Ингушетии, получил новое назначение в Нальчикский округ (Кабардино-Балкарская область).

Распевая песни, ехали продотрядцы на новую работу.

Веселье мало нарушал „отчаянный" вид продотрядцев: многие были в больничных халатах, обувь у большинства находилась в крайне незавидном состоянии.

„Не знал тоски-кручинушки"... неслась песня, далеко разносимая по степи встречным ветром.

* * *

В Нальчике нам пришлось пробыть недолго. Как ни жаль было расставаться с Атажукинским садом в Нальчике (наступила весна), пришлось запастись хлебом из кукурузной муки, перемешанной с ячменными и пшеничными отрубями, и выехать в украинское село—Баксан. Здесь, в Баксане, мы соединились с продотрядом № 624 (кажется так). (.№ 624 состоял из 25 рябят Вологодской губернии—рабочих бумажной фабрики „Сокол").

Отряд был распределен по квартирам, по 2—3 человека. Я с одним товарищем-вологодцем попал на квартиру к довольно зажиточному середняку. Хотя хозяева нас и прикармливали, часто голод превращал нас в рыбо-

ловов. Мы выпрашивали у кого-нибудь из украинцев бредень и отправлялись на реку Баксан. Наловив рыбы, измокшие, но веселые возвращались в село. Часть рыбы обменивали на хлеб, а часть, сжарив на постном масле, поедали. Нередко приходилось рыбу есть и без всякого хлеба.

Вскоре мы выехали из Баксана в глубь Кабарды и Карачая. Местность здесь была гористая; вместо дорог в гору змеей извивались тропинки, но привыкшие к таким дорогам кабардинские кони благополучно и легко нас доставляли до места стоянок. Вологодские ребята особенно боялись переезжать „мосты". Не знаю, в каком положении находятся они в настоящий момент, но тогда мостом служили два параллельно перекинутых длинных бревна. Поперек этих бревен были приговождены грубо обтесанные топором доски. Ширина „моста" была не более $2—2^1/_2$ аршин. Никаких перил эти мосты не имели. Часто они были перекинуты от одной скалы до другой на внушительной высоте. При переходе такой мост подпрыгивал, как на пружинах, скрипел и трясся, заставляя в то же время трястись и переходящего или переезжающего. Во время одного из таких переездов копыта у коня под одним продотрядовцем скользнули и лошадь с всадником полетели в воду. К счастью, мост был не очень высокий и товарища удалось спасти, но лошадь утонула.

* * *

Мы прибыли в один из балкарских аулов к северо-западу от кабардинцев, насколько мне помнится. Живут балкарцы в глуши, в горах и занимаются скотоводством. Я вошел в одну саклю. В сакле сидела у костра молодая

балкарка и варила картофель. При виде меня она испугалась и выбежала из сакли. Я ей знаками показал, чтоб она успокоилась и дала бы мне напиться. К моему удивлению, она ответила на ломаном русском языке: „Вада нету, буза есть, буза якши[1]. Я попросил бузу. Утолив жажду, я хотел уйти, но в это время в саклю вошел молодой парень, как оказалось—ее брат. Я обратился с разговором к нему, но сестра за него ответила: „русски не знает", и так разговор снова завязался и незаметно перешел на политику. Я спросил девушку, какого она мнения о коммунистах, на что получил ответ: „большевик якши, камунист—нет".

— Как же так,—сказал я,—ведь большевик и коммунист одно и то же?—Но увидел, что ее трудно в этом убедить, так как половину моих слов она не понимала. Я спросил, кто ей сказал, что „большевик якши, а коммунист нет", на что она ответила: „Хаджи[2] все знает, он сказал".

Здешнее население настолько было оторвано от окружающей их жизни, что мы даже раздобыли табак в этом селе на николаевский рубль бумажкой. Несмотря на то, что мы сперва за табак предлагали не бумажку (которую кто-то из продотрядовцев сохранил для коллекции), а портмонэ, балкарец с большим удовольствием принял рубль.

Взяв на учет хлеб, мы уехали.

Из балкарского села мы направились в кабардинское село Коново. Секретарем волисполкома оказался русский. В сопровождении милиционеров и секретаря исполкома

---

[1] Буза—это напиток из кукурузной муки, приятного сладковатого вкуса; якши—хороший.

[2] Хаджи—это священное лицо у балкарцев-магометан.

мы описали весь хлеб, чем они были весьма озабочены и озлоблены. Скрытая ненависть светила в их глазах. Эту ненависть еще больше разжигал (тайно от нас) секретарь исполкома (как это впоследствии выяснилось).

Через неделю, окончив по селам опись хлеба, мы нагрузили арбы бурками, которые были нами взяты в счет разверстки, и тронулись к Нальчику.

Темнело. Наши возницы лениво покрикивали на быков: „Сва, сва!"

Не успели мы от'ехать от села и 5 верст, как стало уже совершенно темно. Мы ехали по тяжелой горной извилистой дороге. Вдруг навстречу нам блеснули огоньки из карабинов и раздался залп. От неожиданности все опешили. В темноте раздалось щелканье затворов.

— Прячься за камни!—закричал кто-то из продотрядовцев.

Мы моментально соскочили с арб и укрылись за камнями.

— Лезь сюда, мерзавец, а то укокошу!—послышался голос „Козыря". („Козырем" называли мы одного вологодца). Я недоумевал. Через минуту, проталкиваемый вологодцем, ко мне подлез возница, вздумавший удирать во время перестрелки, но замеченный зорким глазом „Козыря".

Эхо далеко разносило ухание выстрелов. Внизу в пропасти шумел Баксан. Мы перестреливались молча, не видя врага, лишь по огненным язычкам из карабинов догадываясь о месте пребывания нападавших.

— Ребята, не трать понапрасну патронов-то, обождем,— раздался в темноте снова голос „Козыря".

Патронов у нас оставалось мало, но наша позиция была неприступна. Бандиты, выбрав хорошее место для напа-

дения, в то же время упустили из вида, что и мы можем занять не худшее место для обороны. Их ошибка нас спасла. Видя, что нас выстрелами не выгнать, они тоже перестали стрелять. Воцарилась тишина. Лишь река Баксан рычала в бешеной борьбе с тяжелыми утесами кабардинских гор. Прождав час, мы решительно вышли. Нигде никого не было.

Собрав возниц и быков, которые во время перестрелки разбежались, тронулись дальше. Вскоре из-за гор выплыла луна, озарив голубоватым светом дорогу. Ехать стало безопасней и веселей.

„Затрещали пулеметы“,—затянул Сютин, и песню подхватили двадцать пять молодых, звонких голосов.

Благополучно добрались до Нальчика.

Г. РЫБКИН

ПРОТИВ ПОВСТАНЦЕВ И ПОЛЯКОВ

Стены московских домов пестрят воззванием МК комсомола.

„Товарищи!

Республика в огненном кольце

Надвигается зима, которая осложняет защиту страны. Наша могучая конница зимою бессильна. Мы должны заменить красную конницу лыжами.

При Мосвоенкомате организуется московский отряд лыжников.

Товарищи! Записывайтесь добровольно в отряд!

Молодежь, иди в отряды лыжников, создавай зимнюю конницу МК РСКМ“ [1].

Август 1920 г.
г. Москва.

Из горрайкома в „лыжники“ ушли только Симонов и я. В июле прошла мобилизация в хлебо-уборочный отряд. Организация и без того численно слабая, совсем обезлюдела.

Явились мы в военкомат на Варварке. Симонов подает документ первым; он на год старше меня, хотя с виду совсем „ребенок“. Со мною задержка:

[1] Воззвание воспроизведено по памяти.

— Сколько лет?

— Шестнадцать.

— Вам еще рано, товарищ! Через год приходите.

— Через год и лыжников-то не будет. Запишите!

— Согласно приказа принимаются лица не моложе семнадцать лет.

— Да мне с „гаком", семнадцать можно дать.

— Да в документе-то у вас шестнадцать?!

— А вы исправьте в документе...

— Ну, что вы, товарищ!

— Но, позвольте?—пытаюсь я настоять на своем, упорно доказывая, что принятый Симонов „муха" по сравнению со мной.

— Ну, ладно,—соглашается регистратор.—Мы вас запишем, но только в отряде сами сговаривайтесь. Там вас могут и не принять.

С путевками в руках отправились мы в Петровско-Разумовское. Там, у полуразрушенных дач, кое-где горели небольшие костры, бродили босые, несмотря на мороз, похожие на людей существа. „Похожие на людей" грели замерзшие конечности и жарили в пепле „стибренную" с поля картошку.

Вот к этим-то обитателям полуразрушенных дач и присоединились мы. Они тоже были добровольцами.

* * *

В годы гражданской войны традицией партийной и комсомольской была организация своих коммунистических отрядов. Сами по себе эти отряды являлись в высшей степени боевыми; революционное сознание коммунаров служило основой безграничного героизма; не раз эти отряды спасали положение на том или ином участке

фронта, где под напором противника дрогнули бы наши измученные армейские части. Однако, отдельное существование таких отрядов ослабляло коммунистическое влияние в остальных частях Красной армии.

В настоящее время это является общепризнанным:

„Этот опыт (опыт гражданской войны) заставил нас отказаться от создания отдельных коммунистических частей"—говорит т. Муклевич[1].

Но в прошлые времена от отдельных коммунистических частей не отказывались. Московская организация создала не одну такую часть. И насколько успешно проходила вербовка добровольцев в эти коммунистические отряды, настолько слабо шла работа по вовлечению добровольцев в части, формируемые органами военного ведомства.

Так было и с нами, лыжниками. Отряд организовался при Мосвоенкомате. В районах никакой кампании не велось. Этим и об'ясняется незначительный процент добровольцев вообще и комсомольцев среди них в частности. Московский отряд лыжников был поэтому сформирован из мобилизованной крестьянской молодежи, по преимуществу Тамбовской губернии. Здесь неизбежно должна была сказаться слабость коммунистического влияния.

* * *

Наша команда разведчиков-лыжников состояла из ста двадцати человек. Добровольцев было только пятнадцать, из которых трое комсомольцев: из горрайкома — я и Симонов, из Замоскворечья—т. Рыбко.

---

[1] Р. Муклевич—Политработа в боевой обстановке. Авиоиздательство, 1926 г., стр. 23.

Совершенно политически необработанные, мобилизованные ребята резко выражали свое нежелание воевать, тянулись домой, не стесняясь, вслух обсуждали пути бегства из части. Среди беспартийных добровольцев было, правда, несколько сознательных заводских ребят, но большинство пришло в армию потому, что „дома есть нечего". Были среди добровольцев и „сорви-головы": этим важна была приключенческая сторона гражданской войны. Помню двух братцев прозвали: одного—„Деникин", а другого — „Колчак" за их растерзанный, зверский вид, за их придирчивость, хулиганский норов.

На фронте они были неплохими вояками.

При таком составе команды начать какую-либо политическую работу было трудно. В армии тогда комсомольских организаций не было и вопрос об охвате комсомольским влиянием хотя бы более поддающихся обработке комсомольцев отпадал. Политаппарата не было никакого. Комиссар, например, был назначен только недели за две до отправки на фронт. Но несмотря на это, мы не сидели сложа руки. Бегали в райком, в Мосвоенкомат, кричали, ругались, доставали плакаты, книги, добивались регулярного получения нескольких газет. Из всех этих кусочков состряпали „агитуголок". Там мы собирали добровольцев и мало-по-малу пробудили в них активность, желание „поступить в коммунисты". Желание это мы подкрепили разбором программы и в сентябре на собрании я уже записывал в протокол:

„Ознакомившись с программой и уставом РКП(б), мы, добровольцы 1 команды разведчиков-лыжников, заявляем о своем горячем желании вступить в ряды коммунистов и защищать вместе с ними советскую власть"...

Недели через две Бутырский райком утвердил у нас партийную ячейку.

* * *

К декабрю 1919 года положение страны обострилось. Со всех концов надвигались белогвардейцы и войска Антанты. Положение требовало немедленной переброски всех сил на фронты. Московский отряд лыжников был направлен на юго-западный фронт.

* * *

Брянский вокзал спал. Лишь товарная платформа жалобно скрипела от провозимых по ней двуколок и бегающих взад и вперед людей. Грузились лыжники.

Каждая теплушка эшелона зажила по-новому. Из раскрытых дверей далеко за пределы вокзала понеслись звуки гармошки, веселых песен и звонкого смеха. А когда резкий свисток паровоза врезался в морозный воздух, разбуженные свистком колеса вагонов спросонья затараторили „по-о-ехали, по-е-хали, по-е-хали".

На фронте лыжники были разделены на две группы и расположились в районах: Мозырь—Овруч и Бердичев—Житомир. Эти районы в конце 1919 и начале 1920 годов были охвачены повстанческим движением крестьян против советской власти. Руководили движением польские офицеры, командированные из частей, расположенных на границе. В то время поляки не вели с нами открытой войны (первое наступление поляков на этом фронте относится к началу марта 1920 г.), но в каждом повстанческом отряде на двести-триста человек было тридцать-сорок поляков-солдат, конечно соответствующим образом переменивших шкуру.

Повстанческое движение было на руку полякам; прикрываясь им, они делали налеты на ж.-д линию, д зорганизовывали транспорт, грабили города. Особенно страдал Овруч. Город обычно захватывался на одну ночь. С рассветом „повстанцы“ уже спешили оставить город и увезти „трофеи“, боясь нападения со стороны красных. Незначительные местные гарнизоны (Овруч 50—60 чел.) не в силах были предотвратить эти налеты.

Местное крестьянство к советским войскам относилось недоверчиво. На вопросы крестьяне отвечали неохотно, иногда двусмысленно:

— Разные тут проходят... А кто они: красные, белые, зеленые, хиба-ж мы знаем? Теперь ничего не разберешь ..

* * *

Первая команда разведчиков и первая рота лыжников высадились на ст. Свруч...

Прозвенели бодрящие звуки оркестра, промелькнули на красном знамени вышитые слова:

„Не сдадимся!

Выдержим!

Победим!..“

Город позади... Перед нами комья пахотной земли; большими черными глазами смотрят они из-под тонкого снежного одеяла...

„Нет, не развернуться здесь лыжникам“, — сверлит голову мысль.

... По климатическим условиям мы были переформированы в пехотную часть...

В первой деревне, в восьми верстах от города, заночевали...

Прервав свой тревожный, но все же бодрящий сон, мы вышли из деревни.

Слабый утренний свет незаметно усилился и открыл взору горизонт ровный, широкий. Шел снег.

Путь предстоял далекий. Нужно было занять м. Славечно, находящееся в сороках верстах западнее г. Овруча.

Подгоняемые усталостью, подкупленные царящим в деревнях спокойствием, расселись лыжники по повозкам.

И вдруг тревога.

Подвода, укатившая с разведчиком вперед, примчалась обратно. Не успела разведка толком рассказать о виденном, как зататакал пулемет, защелкали выстрелы. Команда начальника вывела нас, стоявших впереди обоза, из неожиданного оцепенения и заставила, вскинув наперевес карабины, броситься стремглав за овраг.

Там, за оврагом, мы—тридцать разведчиков—раскинулись в цепь...

Сзади смятение. Первый выстрел навел на обоз, состоявший из мобилизованных крестьянских подвод, панику. Передние подводы, не слушая приказаний, повернули обратно и помчались „на всех парах", сея панику в задних рядах. Сидящие на подводах лыжники, не зная в чем дело и оказавшись целиком во власти удирающего обоза, вынуждены были покинуть на поле боя тридцать обреченных на верную смерть разведчиков.

* * *

Я лежу в цепи и, методически открывая и закрывая затвор, посылаю пулю за пулей. Рядом друг, Симонов, бледный, маленький, жалкий, но беззаветно преданный; справа за ним, тут же в цепи, тов. Смирнов, помощник

начальника. В конце доброволец Директоров в пылу увлечения стреляет с колена, что-то крича. Кажется, никакая команда не заставит его сойти со своего места или пригнуться, чтобы спасти свою голову от пули.

Так он от нее и не уберегся...

По оврагу бегает начальник команды тов. Волков с наганом в левой руке; правая рука болтается плетью и истекает кровью. В шуме ружейной и пулеметной трескотни едва слышны его слова:

— Противник справа!

Душу раздирающий крик раненого в живот, на вылет, Афонина, прекрасного парня, заглушает на миг шум боя. Не отрывая глаз от противника, видишь скатившееся на дно оврага тело. Но ни предсмертная агония корчащегося от боли тела, ни чувство самосохранения не отрывают тебя от места и ружья, не заставляют бежать от этого ужаса.

Однако, неравенство боя скоро сказалось. Затихло цоканье наших пулеметов: один из них отказался работать, расплавившись от беспрерывной стрельбы, а другой стоял в тоскливом бездействии, окруженный девятью молчаливыми телами перебитых пулеметчиков.

Вразумительный, требовательный крик скатившегося в овраг Смирнова заставил опомниться:

— Отступать!

Не подымаясь, скатываюсь в овраг. Беглый взгляд в окружающее: Симонов пытался подняться, но сейчас же ткнулся лицом в землю и остался лежать без движения; раненый в бок Директоров приставил к виску револьвер; около Смирнова только я да еще трое разведчиков.

Из тридцати здоровыми вышли пятеро, остальные остались там.

Окрыленный победой, трехсотенный отряд повстанцев ночью занял Овруч. Мы отошли на железнодорожную линию и там влились в 117 полк, связав с ним впоследствии всю свою боевую жизнь...

Через час повстанцы были вытеснены из города. А на второй день полк занял Славечно.

* * *

Борьба с повстанцами связана с громадными трудностями. Зная каждую тропинку, каждый кусочек земли, имея живую связь с населением, находясь нередко до „подходящего момента" дома, в своем хозяйстве, они появлялись перед нами, когда их меньше всего ожидали. Мне вспоминаются несколько случаев таких внезапных налетов.

Воскресенье. День морозный, но солнечный. С колокольни, где стоял наблюдатель, звонили к обедне. Полк, расположенный по хатам, отдыхал: одни спали, другие веселились и только дежурная часть казалось зорко охраняла отдыхающих.

Обедня еще не успела отойти, как с трех окраин послышались выстрелы. Красноармейцы, повыскакавшие из домов на место сбора, вынуждены были уйти за четвертую околицу, чтобы оттуда, стряхнув неожиданность нападения, развить боевые операции за обратный захват местечка.

Помню еще. Как-то днем мы ходили в разведку верст за двадцать. После этого измученные, не успев отдохнуть, пообедать, мы должны были направиться в ночной дозор.

Холодно зимней ночью в дозоре. Ветер, пронизывая уже истрепавшиеся шинели, холодным прикосновением

к телу вызывает дрожь. Деревня хранит глубокое спокойствие. Даже хатенка, где деревенские гуляки-девушки занимаются гаданьем, подкупает невозмутимостью долетавших до ушей слов распеваемой песни:

Сякий-такий мужчина,
Абы дрова, не лучина;
Сякий-такий, а бы був,
Хлеба й соли раздобув...

А между тем во многих хатах повстанцы готовились ударить нам в спину.

Наконец-то пришла смена. Как хорошо растянуться на полу, даже на этой грязной, кишащей клопами и вшами соломе, после утомительного дня, после холода ночи. Повалившиеся тела дозорных тут же сладко засыпают. Только мне в эти минуты засыпать не приходилось. Разомлевшее в тепле тело зудело в чесотке. Засыпал я обычно только к утру.

Но в эту ночь моя бессоница оказалась полезной. После двухчасового ворочанья с боку на бок я с досадой снова открыл глаза. Посмотрев в окно, я увидел в нем голову в подозрительной лохматой шапке. Вскочив, я бросился к окну. За окном вспыхнула спичка и послышался топот бегущих людей.

Я выстрелил наугад. Отдыхавший дозор мигом вскочил на ноги. Выйдя из хаты, мы пробились сквозь стену окруживших дом повстанцев и стрельбой разбудили всю деревню. Полк был предупрежден, он вышел из деревни без серьезных потерь.

Только очередной дозор был снят повстанцами.

Несмотря на неожиданные налеты, мы все-таки отказывались по мере возможности от неорганизованного боя

на улицах населенного пункта. Окруженные, мы немедленно пробивались за околицу, чтобы в двухстах метрах от нее развернуть силы в надлежащий порядок и через полчаса быть на своих местах. Слабо обученные повстанцы не могли сдерживать организованного наступления наших частей и обычно, не закрепляя за собой плодов победы, они подбирали забытые второпях повозки с военным имуществом и живо удирали. Поспешность, с которой все это проделывалось, была настолько значительной, что если кто из наших, не успев удрать, оставался сидеть в избе даже во всем своем красноармейском облачении, он мог быть спокойным за свою жизнь: в избы повстанцы не заглядывали. Это обстоятельство дало возможность выработать особые способы борьбы с налетами.

Был у нас доброволец, любивший больше всего оригинальность. Как-то раз ночью тревожные выстрелы нарушили наш сон. Нас окружили повстанцы. Быстро натянув сапоги, схватив свои карабины, мы все кинулись к выходу. Но наш „оригинал“ вздумал умываться.

— Сенька, да что ты очумел, братец?—спрашиваю я.

— Нет, в здоровом уме, могу даже тебе уступить немножко.

— Брось дурака валять, пойдем,—хотел убедить его мой товарищ и потянул Сеньку за руку.

— Да я тебя не валяю. Отчепись!—крикнул Сенька, а потом улыбаясь добавил:

— Вы не ждите меня, идите, а я здесь чайком позабавлюсь.—Смачно сплюнув, мы выскочили на улицу. Со всех сторон уже свистели пули. Мы направились к отступающим частям и нагнали их у околицы. Нас неожиданно остановил три раза повторившийся оглушительный взрыв.

Это было для нас ново и загадочно и командир отправил меня с десятью парнями разузнать, в чем дело...

Посредине деревни, недалеко от дома, где мы оставили незадачливого Сеньку, стоял сам герой и помахивал шомполом.

На дороге хаос: валяется разбитая повозка, десятка полтора трупов. Это были Сенькины жертвы.

Пользуясь тем, что повстанцы в избы не заглядывали, Сенька спокойно выждал, когда они в панике стали отступать, и, выскочив из избы, бросил три гранаты.

Позднее Сенькин метод сыграл в нашей тактике немалую роль...

Первые неудачи научили нас многому. Постепенно от поражения мы перешли к победе. С повстанцами мы уже справлялись легко, но на сцену борьбы выступили регулярные польские войска.

* * *

Из Славенческого района наш полк перебросили в Скрыгаловский, что в сорока километрах западнее г. Мозыря. Местечко Скрыгалов находилось в руках поляков.

Наш первый батальон расположился в небольшой деревушке, километрах в десяти от Скрыгалова.

Первым делом нужно было выяснить боевую обстановку, нащупать силы и местонахождение передовых частей противника. Комбат Нестеренко мчится к нам:

— Як же, хлопцы, пийдимо пся крев шукати?

— Почему же нет! — отвечают ребята и уже все на ногах, пригоняют снаряжение, проверяют оружие.

Подбадриваемые легким морозцем, мы вышли за деревню. Наблюдатели, выставленные на окраине, провожают

нас товарищеской улыбкой, пока мы не скрываемся в радужных об'ятиях осеребренного инеем леса.

Разведка в лесу полна всяких неожиданностей. Самообладание там покупается громадным напряжением воли, так как все время чувствуешь себя в положении зверя, попавшего в расставленные сети.

В самой глубине леса пугает своей мертвящей тишиной дом лесничего. В нем мы узнаем ценные сведения: „на хуторе под Скрыгаловым рота поляков. Была разведка Готовится наступление".

Нужно предупредить своих.

На обратном пути, подходя к деревне, слышим выстрелы. Не по нас ли свои стрелять вздумали? Нет. Это наши часовые заметили польскую разведку. Она спешит под прикрытие голых стволов берез, осин и ольхи, но... натыкается на выставленные нами дула карабинов... Тот, кто пытался бежать, остановлен пулей. Остальные сдались.

С триумфом вошли мы в деревню.

На столе еще дымятся щи, дразня аппетит. Мы только что сели за стол, а уже приказ:

„Лыжникам отправиться во второй батальон в деревню по направлению в Скрыгалов".

Быстро, обжигая язык и внутренности, покончили со щами.

Мы вышли из деревни. Не успели пройти и километра, как начальник, идущий впереди, остановился. Он обратил внимание на шевелящиеся деревья у опушки леса. Не трудно было догадаться, что перебегающие „деревья" несут на своих плечах штыки.

Мы вернулись обратно и помчались в деревню. Там за околицей успели уже залечь стрелки. Пулеметы стояли в ожидании. Расположились и мы.

От деревьев опушки начали отделяться люди и ровной цепью растянулись в поле.

Медленно подвигается цепь противника. Вот она уже приблизилась к нам на четыреста метров, уже снаряды польских бомбометов рвутся у ног... Но заговорили наши пулеметы и винтовки и как ни старался суровый голос польского капрала, долетавший до наших ушей, как ни старалась взметнувшаяся с наганом рука офицера остановить отступление, солдаты один за другим начали отступать, оставив на поле убитых и раненых.

* * *

На следующее утро, после неудачной попытки поляков, полк наш сосредоточил удар по хутору, чтобы сбить передовые части противника и занять Скрыгалов. На нашу долю выпала задача охранять подступы отступления и подкреплений. Мы залегли в засаду в молодом редком лесочке в нескольких шагах от дороги, соединяющей хутор со Скрыгаловым.

Бой длился весь день. Мы сидели в заставе и мерзли от холода. Трескотня выстрелов, уханье бомбометов и пушек таили в себе полные неизвестностей предположения: чья возьмет.

В полдень с окраины бой перешел в центр хутора, который в половине второго перешел в наши руки. Это был бой не на живот, а на смерть. С утра до вечера лился непрерывный поток пуль, непрерывно текла кровь.

Находясь вдалеке от боя, мы думали, что нас забыли, хотели удирать в тыл противнику, но сознание дисциплины удержало от необдуманного поступка. К холоду, безделью, неопределенности прибавился голод. Домик,

стоявший у самой дороги, гостеприимно попыхивал в небо сероватым дымком. Я добился у начальника заставы разрешения пойти туда, достать корку хлеба.

Как вор, подкрался я к отворенной двери. Сердце готово выскочить из стеснявшей его груди, биение его кажется слышно на расстоянии, и, боясь, что оно выдаст твое присутствие, задерживаешь дыхание.

В хате, к удивлению, встретили приветливо, накормили, дали хлеба. Я собрался было итти, как вдруг в окне мелькнули польские шинели. Не дрогнув ни одним мускулом, замер я, как в столбняке. Только сознание казалось жило: если шевельнусь, тронусь с места—заметят, обнаружат засаду. Расчет был верен. Скользнувшие по окну глаза не заметили в руках карабина у стоящей перед окном красноармейской фигуры.

Как-будто громадная тяжесть свалилась с плеч, когда промелькнул последний. Через секунду я был уже на дворе. Засада, подпустив к себе поляков, открыла частый огонь, который заставил их повернуться обратно к хутору. Это замешательство я решил использовать. Выждав, когда к дому приблизилась группа солдат, я бросил гранату. Оглушительный взрыв ее, не причинивший, правда, никому вреда, явился могучим моральным воздействием. Думая, что окружены, поляки бросились на землю и замерли в ожидании.

Выбежавшие из засады товарищи захватили их в плен.

На хуторе бой близился к концу. С замиранием последнего луча уходящего за горизонт солнца замер и последний выстрел. Полк занял хутор и в этот же вечер расположился в Скрыгалове.

Всю ночь бомбардировали Скрыгалов из Петрикова А на утро поляки повели наступление. Ни авторитет

комбрига, ни чудовищная храбрость комполка, речицкого коммуниста т. Мицкевича, потерявшего в этом бою руку, не могли остановить разбитые части полка. Оставив десятки убитых, едва вырвав из огня раненого помкомполка, мы отступили. Рассерженные жерла польских пушек ежеминутно выплескивали сноп снарядов; часто, не уловив зудящего воздух полета их, шарахаемся в ту сторону, где как раз он взрыхляет землю, ослепляя глаза мелкой пылью. Тогда бросаешься прямо в пробитую в землю снарядом воронку и залегаешь в ней. Уж второй снаряд вряд ли попадет туда.

* * *

Наступление врага шло по всему фронту. Польские войска быстро продвигались вперед, захватив значительную часть левобережной Украины, овладев Киевом, Житомиром, Мозырем и другими городами.

Незадолго до падения Мозыря я отправился с поручением на ст. Калинковичи. Обратно в команду разведчиков мне не пришлось вернуться: поляки заняли ст. Мозырь и отрезали ст. Ельск, где находились лыжники. Они отступили к Коростеню, а я перешел в прибывшую в Калинковичи 57 стрелковую дивизию.

Лыжников больше никогда не встречал..

В Польшу

(Отрывок из письма)

...„Жизнь наша веселая и боевая.

Я долго, друзья, не писал вам, а за это время изменилось многое. Мы успели уже побывать в кольце польских войск, вырваться оттуда с громадными жертвами под Речицей, а теперь вот мчимся безудержно вперед.

Отступая, поляки рушат все на своем пути, чтобы как-либо помешать нашему преследованию. Железнодорожный мост через Днепр в Полесье, этот прекрасный гигант, был ими взорван перед уходом из Речицы. Но мы, кто на лодке, кто по обломкам моста, перекинулись на тот берег.

С радостью возвращаешься на старые места. Всюду все знакомо, будто ничего не изменилось, только видишь оставленные поляками следы. С жадностью набрасываешься на польские газеты, изданные русскими эсерами. Ничего серьезного. Вот какой-то борзописец ругается последними словами, очевидно утешает себя:

„Прочна ли победа большевиков? Нет, нет и нет. Факты говорят за нас. Кто у них руководит армией? Запфронтом командует мальчишка прапорщик Тухачевский, который не больше любого солдата смыслит в военном деле. Правда, последнее время, изменив делу России, на сторону большевиков перешли Брусилов и др. Но и эти продажные люди не спасут большевизма. Уже сейчас, скрывая свое бессилие, большевистские газеты утешаются ложными утверждениями:

— Польша горит в огне восстаний!..—кричат они[1] и т. д.“

Как смешили нас эти собачьи тявканья. Еще более близкой, более любимой становилась фигура нашего командира западной армии тов. Тухачевского.

---

[1] Однако, позднее даже сам Пилсудский в книге „1920 г.“ сознался, что под влиянием этого марша (Марш маневра Кр. арм. Двины и Березновы к Висле) колебались характеры, размякали сердца солдат, создавался за внешним фронтом фронт внутренний (курсив наш—*Г. Р.*).

Но вот пройдены знакомые места, где мы еще так недавно бились с поляками. Новые селения, города, новые люди мелькают перед нами. Слуцк, Корбин, Брест-Литовск—все дальше и дальше, все таинственнее становится обстановка. Но все это быстро сменяется одно другим. По сорок километров в сутки гоним поляков. Радзин, Луков, Бяля уже совсем хоронят русскую речь, всюду слышны незнакомые слова.

Рабочих мы не видим. Маршрут наш исключает промышленные районы, проходим мы города мелкие, живущие своими мелкими торговыми обывательскими интересами. В каждом встречном взгляде ловишь недовольство, обиду за нарушенную обывательскую жизнь...

...У ребят настроение бодрое. У нас еще живут рожденные наступлением частушки про пана Пилсудского, ребята часто распевают их.

Всполошилися поляки,
Словно будто в праздник:
Пан Пилсудский воевать
Вздумал, саботажник.

Но его предупредили
Красной армии штыки
И в галошу посадили:
Хоть сдавайся, хоть „теки".

Грохот пушек гулко, гулко
Эхом раздается.
Пан Пилсудскому сегодня
Очень достается.

„ВАШ ДРУГ"

Польша, г. Желихов. 12 VIII—1920 г.

„Когда я ставил последнюю точку, во дворе дома, в котором мы расположились, разорвалась сброшенная с поль-

ского аэроплана бомба. Я бросился на городскую площадь. Там население металось в ужасе. Осколки разрывавшихся бомб скашивали их. Вот мальчик лет трех, поджав под животик ноги, подобрав под грудь свои ручонки, будто играя в собачку, лежит без дыхания. Вот еще... вот молодая девушка, вот старушка.

Мы получили приказ через час выбраться из города и отступать. Ну, друзья, прощайте. Может быть, не придется вырваться, хотя настроение бодрое, как-будто идем на новый штурм неприступной крепости. Возьмем!..“

В. ПРОХОРОВ

В ПЛЕНУ У ВРАНГЕЛЯ

Под впечатлением только-что закончившегося доклада начподива на бригадном совещании политруков мы разошлись по хатам и кажется впервые заснули спокойным, крепким сном.

Некоторым из нас наверняка представлялась во сне картина ближайших дней в таком виде, как нарисовал ее начподив.

Пришедшие на подкрепление 4-я армия и Буденновская конница, стукнув Врангеля и ворвавшись в Крым, положат конец гражданской войне. Так оно и случилось на яву. Победоносное наступление Красной армии под руководством М. В. Фрунзе, задержавшись на несколько дней у Сиваша и Перекопа, в конце концов, докатилось до берегов Черного моря, заняв 14 ноября 1920 года весь Крым.

Видимо чуял Врангель, что приходит его конец. Последней судорогой, последним усилием утопающего можно считать его попытку взять инициативу удара в свои руки.

* * *

Брезжит рассвет. Село оживает. Ежеминутно скачут к штабу связисты. Длинной вереницей, спеша, уходят из села обозы. Шум и говор на улице усиливаются, и мы, почуяв недоброе, выбегаем из хаты.

Спрашиваем обозников.

— Куда, товарищи?

— Врангель переправился и прорвал фронт.

— Где прорвался? Когда?

— У нижней Хортицы и у Кичкаса, сегодня ночью. Взял в плен бригаду...

— А наш 19-й полк цел?

— Кажется, цел. Не знаем...

— Ну, Паничев, как же быть?—обращаюсь я к своему товарищу.

— Айда, тронемся .. искать надо,—отвечает он решительно.

Выходим из села на дорогу, ведущую в Кичкасу.

— Чорт возьми, неужели наш полк отступил? Ведь я все барахло оставил в хате. Белье только вчера выстирал в Днепре и вдруг оно достанется белым. Обидно. Знал бы так и стирать не стал,—злюсь я почему-то по такому ничтожному поводу.

Подходим к сопке.

— Смотри, Прохоров, а ведь это Антонов, комиссар полка...

— Верно!

Бежим к комиссару.

— Здравствуй, товарищ комиссар. Что случилось?

— А вы что же, не видите—отступаем.

— Почему?

— Ночью во втором часу переправился, порубил заставы и Н-ский полк Нижней Хортицы. Теперь крупными силами наступает. Н-ский полк попал в плен. Вот там вправо остатки от бригады, а прямо наши 3 и 6 роты. А вы куда же?

— В свои роты...

— Бросьте, не ходите. Дело пропащее.

Мы мнемся. „Не ходить"—это пахнет дезертирством.

Впереди бьются 3 и 6 роты и хоть немного, но все же сдерживают белых.

Не раздумывая долго, вливаемся в цепь.

Цепь быстро отступает.

Командиры изредка останавливают цепь, чтобы выпустить 2—3 залпа по наступающему противнику, и дальше

Вот уже прошли сопку, где только-что был штаб полка, оставили позади село, вышли на ровную степь. Ребята устали, идут вяло. Забывая об опасности, они поднимаются нехотя и неторопясь отбегают назад, тяжело падая на землю от усталости и жары.

Солнце перевалило за полдень, а мы все отступаем.

Свист белогвардейских пуль усиливается. Белые насе-дают все ближе и ближе. Слева по дороге показались 3 броне-автомобиля.

1-му взводу приказано обстрелять их. 2 и 3—крыть по вышедшей на гору пехоте. По цепи от одного к другому летит: „окопаться, окопаться, окопаться".

Дружные залпы смутили белых. Они тоже залегли, так как, находясь на пригорке, всего в 400—500 шагах, они для нас—хорошая цель.

Бронемашины сбавили ход, но двигаются вперед, заходя с фланга.

Неожиданно загрохотала наша артиллерия. Около бронемашин начали рваться снаряды. Через 2—3 минуты улепетывают под общее одобрение ребят. Цепь сразу ободряется и с радостью приветствует каждый снаряд.

— Значит нас еще не бросили, поддерживают,—кричу я соседу по цепи.

Прогнав бронемашины, артиллерия перенесла огонь куда-то вдаль, вправо. Начинаем следить. Всматриваемся. В 5—6 километрах показывается облако пыли. Оно все ближе подвигается к нам. Ребята начинают волноваться. Кавалерия справа .. Кавалерия справа несется по цепи.

Мы, пожалуй, забыли пехоту, сосредоточившись на приближающейся кавалерии.

Стреляли мы на славу. Грохот артиллерии, меткие взрывы картечи влили в нас новые силы.

Однако, мы были обречены. Скрывшись на несколько минут в облаке, кавалерия выскочила на пригорок и, сверкая клинками, бросилась в атаку. Наша артиллерия смолкла—видимо снялась и удирает. Шесть тачанок с „Максимами“ рванули и скоро исчезли далеко позади. Дав последний залп, как по команде, бросаем винтовки и прижимаемся к земле.

Как ни странно, но кавалерия, миновав нашу цепь, поскакала дальше, за тачанками. К нам подходила пехота. Отбиваться бессмысленно. Около двухсот красноармейцев поднимаются с земли и, вскинув руки, ожидают своей участи.

— Ну, краснопузые... „Даешь Крым!“ У... сволочи...

— Построиться!

— Шагом а-арш!!!

Обойдясь с „краснопузыми“ сравнительно вежливо, белые повели их по направлению к колонии.

Когда кавалерия врезалась в цепь, я находился в левом фланге, невдалеке была полоса кукурузы и она спасла меня от общей участи, скрыв под своими густыми листьями.

Долго я лежал здесь, обдумывая свое положение. Оно было неважно. Остановился, в конце концов, на следующем: добраться до колонии и там отсидеться на задворках. Одежда на мне была гражданская—черные брюки, гимнастерка, хромовые ботинки, шинели не было, так что в таком виде я мог сойти за местного жителя. Особенно я возлагал большие надежды на пенснэ. Но пока я раздумывал, на дороге, идущей рядом с полосой кукурузы, показалось четыре кавалериста. Скрыться некуда. Двое едут по самой полосе. Приготовился защищаться.

Вдруг сзади меня раздался выстрел. Оглядываюсь. Шагах в ста от меня стоит Махмедка, красноармеец нашей роты, и шпарит по конным. Я с колена начал помогать. Прошло минут десять. Махмедка видимо оставшись без патрон, бросился бежать. Двое погнались за ним и через минуту Махмедки не стало.

Преследовавшие Махмедку вернулись и теперь все четверо, гарцуя, двигались со всех сторон на меня.

У меня один патрон, мелькнула мысль—„застрелиться!“ Но эта мысль быстро скрылась.

Один из кавалеристов решительно летит на меня. Начинаю целиться. Кавалерист дрожит и, сделав полукруг удирает.

Наконец, я решился. Поднял над головою винтовку и с размаху откинул ее в сторону.

Четыре врага ринулись ко мне. Окружили. Видно офицеры, на плечах блестят погоны.

— Даешь деньги!

— У меня нет денег!

— Жид... в душу мать... —крикнул стоявший впереди и с кряком ударил шашкой. Обхватив руками окровавленную голову, я упал в кукурузу.

— Эй, Сидорчук, пошарь-ка у него карманы.

Обшарив и ничего не найдя, Сидорчук говорит:

— Ваше благородие, он живой...

Бах. Меня ожгло и укололо в левую руку, около плеча.

Я замер от боли, но сознание не потерял. Жду, что будет дальше. „Уехали“,—думал я, теряя, наконец, сознание. Вдруг слышу:

— Сидорчук, всади ему еще из его же винтовки.

— Собаке собачья смерть!

Если бы Сидорчук всадил в меня еще одну пулю, я не писал бы этих строк, но ему помешали.

Около засвистели пули.

По моим предположениям, это наша пулеметная команда вернулась и открыла огонь по кавалерии или пехоте. Мои победители сразу же дали тягу, а за ними и Сидорчук.

Сколько я лежал, не помню. Когда очнулся и открыл глаза, с радостью увидел перед собой двух красноармейцев своей роты, но они, посмотрев на меня с сочувствием, тут же ушли. Голова ныла отчаянно. Я больше всего боялся за нее: мне все казалось, что если я отниму руки, она развалится пополам. Но надо что-то предпринимать.

Пересиливая боль, осторожно встаю. Ступил несколько шагов—терпимо. Пошел. Ничего не вижу (пенснэ упало). По памяти беру курс на колонию, не подумав даже о том, что со мной там сделают.

Солнце уже зашло, наступили сумерки. Медленно продвигаюсь вперед.

Вдруг крик.

— Стой! Ты кто?

— Пленный.

Передо мной опять верховые, но видно это не те, что меня рубили.

— Ты командир?

— Нет. Рядовой.

— Врешь! Говори, не бойся. Каким батальоном командовал?

— Я солдат—командиры наши убежали. (Это оказалось верным. Остался с ротой лишь комвзвода Воробьев—коммунист).

— Кто тебя ранил?

— Кавалеристы.

— Ну, говори же,—ругаясь, кричит офицер,—какой ротой командовал?

— Господин офицер, это наш. Он рядовой.

— Ага, вы его знаете. Ну, говорите—он командир?

Оказалось, что я находился около своих ребят. Их остановили около колонии и раздевают, снимая подходящее обмундирование.

Офицер (без руки), близко нагнувшись, рассматривает меня в лицо и опять обращается к красноармейцам:

— У него лицо интеллигентное, а вы говорите, что он солдат?

— Вы офицер? Говорите. Я вас отпущу... Молчишь! Я заставлю тебя говорить! Шесть человек, ко мне.

Среди выведенных из строя красноармейцев—два коммуниста, в том числе и комвзвод Воробьев, не отличавшийся по внешнему виду от красноармейцев.

— Скажите теперь, кто он?—свирепо подскочив к ним, кричит офицер.—Порублю на капусту! Расстреляю каждого пятого!..

„Ну, — думаю, — пропал".

Наступило минутное молчание.

— Коли он рядовой, что мы еще скажем?—несутся из строя отдельные голоса.—Нас командиры и коммунисты бросили, мы и сдались.

Упорство, с каким ребята скрывали меня, и последняя фраза Воробьева решили мою судьбу. Взглянув на меня более мягко, офицер приказывает:

— Отведите в околодок. После разберемся.

Ко мне подходит Воробьев и трое других ребят. Пытаются снять папаху и перевязать голову. Шопотом спрашивают:—Кто это тебя? Где?

Вместо ответа я закричал, застонал. Кровь в волосах запеклась, прилипла к папахе. Каждая хоть и очень осторожная попытка снять папаху причиняла ужасную боль. Воробьев страдал наверное не менее меня, смотря на мое искаженное и залитое кровью лицо.

К околодку меня повел один из красноармейцев. Начинаю просить его, чтобы он не подал там виду, что знает меня.

— Фамилию я изменю. Ты только молчи. Ребятам передай спасибо.

Что было дальше, помню очень смутно.

Я лежу на соломе... брожу в какой-то комнате. . еду на телеге.

Очнулся лишь в хортицкой больнице.

Лежу на койке, забинтованный с головы до пояса.

Кто-то слева окрикнул:

— Земляк, а земляк, какой части?

— Пленный.

— А какой части?

— 19-го полка.

— Вы офицер?

— Нет, рядовой.

— Вы не бойтесь. Вам ничего не сделают. Мы не звери, не большевики...

— Как звать вас?

— Андрей Васильевич Андреев.

— Вы курите. Пожалуйста закурите.

„Земляк“ подает мне коробку с папиросами, но я глазами и кивком отказываюсь.

— Знаете ли,—продолжает „земляк“,—проситесь в Симферополь, я вам там могу устроить хорошую службу. У меня дядя генерал. Он для меня все сделает. Вы хоть и боитесь сказать, но я вижу по лицу, что вы офицер. Что ж, большевики всех нас мобилизовали. Мой товарищ, поручик Новомосковского полка, тоже где-нибудь стреляет в „своих“ (т.-е. в белых).

— Вы ведь не коммунист?

— Да... беспартийный.

Вошедшие в палату, есаул в бурке и два казака, прервали наш разговор.

— Есть здесь красные?

Я инстинктивно натягиваю одеяло и сползаю.

„Зачем бы, думаю, ему красные?“

— Ничипоренко! Ты ли это?—радостно вскрикивает есаул и быстрым шагом идет к лежащему в правом углу комнаты.

Встретившиеся приятели разговорились.

— Ты что же замотался, точно ребенок в пеленки? Изрубили? Где это?

— Сегодня ночью около Веселого. Наша рота шла в Веселое. Ночь темная. Вдруг сбоку отряд. Не подозре-

вая, что это партизаны, мы продолжаем двигаться. Вдруг слышу сзади крики. Оказалось, что на нас налетели махновцы. Ну, и пошла катавасия. Порубили всех до одного. Я не успел опомниться, как меня кто-то ударил в плечо. Потом еще. Я свалился. Уж и не помню, как сюда попал.

— У-у, сволочи! Мы им покажем. Ну, прощай.

Взволнованный есаул, забыв зачем пришел, выбежал из палаты.

Во время их разговора остальные раненые (а кроме меня лежало еще шестеро—все офицеры) внимательно слушали, как рассказывал Ничипоренко, хотя они уже знали историю гибели роты от махновского [1] отряда.

Не прошло и нескольких минут, как в соседних палатах поднялся невозможный шум, стоны, крики, мольбы.

Я понял, что началась расправа над ранеными-пленными. Били ли их прямо в палатах или уводили, не знаю. Крики и стоны продолжались около получаса.

Истязаний видеть не пришлось. Но по крикам я предполагал, что другого быть не могло. Это тем более верно, что и в нашу палату приходил есаул с казаками и спрашивал „есть ли красные?"

К вечеру до нас донеслись отдаленные звуки канонады. Еще через два-три часа уже явственно были слышны разрывы снарядов. Мои коллеги забеспокоились. Я внутренно уже начал гадать, как наши освободят меня и я поеду в Москву.

Ночью догадки раз'яснились сами собой. Больных начали вывозить. Под утро обоз с ранеными, перебравшись

---

[1] Махно к этому времени дрался на стороне красных.

через Днепр, двигался в г. Александровск. Надежды увидеть Москву пропали.

В Александровске меня снова положили в лазарет. Мне сделали операцию—вынули пулю. Стало сразу легче.

Наша артиллерия не забывает белых, кроет по Александровску. Раненых вновь выносят и отвозят на станцию в санитарный поезд. Покидая Александровск, я чувствовал себя превосходно. Ходить мог сколько угодно, но ел с помощью сестры или санитара. Обе руки бездействовали еще около двух недель.

Поезд двигается медленно. На станциях стоим по десять-двадцать часов, пропуская спешащие на фронт эшелоны с подкреплением и снарядами.

На четвертый день подходим к Сивашскому перешейку. К моему несчастью, я не мог разглядеть тогда сивашских укреплений. Потеряв пенснэ, я потерял и 70% зрения.

На 6 день, т.-е. 13 октября 1920 г., пройдя через баню, я очутился на койке 8 палаты 50-го Крестовоздвиженского госпиталя в гор. Евпатории, записавшись под именем Андрея Васильевича Андреева, рядового 19 стрелкового полка. Не считая меня, в палате лежало десять человек. Среди них находились бывшие красноармейцы, и уже воевавшие на стороне белых. вольноопределяющийся, несколько пожилых казаков и три офицера.

Держал я себя среди этой публики осторожно, но все же по молодости своей (мне было 19 лет) иногда пересаливал, что чуть не решило впоследствии мою участь.

Так однажды, прочитав в „Евпаторском Курьере“ телеграмму „Полный разгром Буденного“, в которой упоми-

налось о тысячах убитых и нескольких тысячах пленных, плюс трофеи чуть ли не в сотню орудий и несколько сот пулеметов, и, с другой стороны, передовицу этой газеты, писавшей о том, что некоторые слои общества вносят панику, осаждая бюро по выдаче виз на выезд за границу,—я спросил, обращаясь к офицеру: „Чем об'яснить нервозность „некоторых слоев общества", стремящихся поскорей выбраться за границу?"

— Милостивый государь, вы не по „чину" умны и любопытны.—Сказав это. офицер повернулся и ушел. Мой „наивный" вопрос попал не в бровь, а в глаз этому барчуку.

Сознаюсь, я не рад был, что задал такой вопрос. После я два дня лежал и ни с кем не разговаривал. Мои же вопросы остались без ответа.

Как-то ожидая в хирургическом кабинете, я услышал разговор двух раненых.

— В госпитале лежит пленный комиссар.—Дальше я узнал, что лежит он в нижней палате. Подгоняемый любопытством, я в тот же вечер пошел в нижнюю, самую большую палату (она была проходной) и, идя около коек, щурясь вглядывался в лица раненых. Расспрашивать побоялся и комиссара не нашел.

На второй или третий день мое любопытство было удовлетворено. День был теплый и я вышел погулять. Около 2 часов дня открываю дверь и вхожу в палату.

— Здорово, комиссар!

От неожиданности я остановился, но, увидев, что все смотрят на меня и почуяв недоброе, придал голосу спокойный тон и, ухмыльнувшись, отвечаю:

— Здорово, солдат!

Самочувствие мое в первые несколько минут было тревожным. Я не знал, как понимать обращенное ко мне приветствие: „здорово, комиссар". Комиссаром я не был. Записался под чужой фамилией, так что если мои документы и попали к белым, то ведь по ним меня не могут узнать. Или это простая шутка? Но нет, это не шутка, ибо вся палата как-то особенно впилась в меня глазами, следя за каждым движением.

Так я и не узнал причин моего повышения из политрука в комиссары.

Подойдя к койке, сажусь.

— Скажи-ка, Андрюша (меня звали так все), какая, например, разница между вашим комиссаром и генералом.

— Какая же разница? По-моему между ними нет разницы.

— То-есть как же так нет?

— Ты что же, генерала ровняешь с комиссаром? А?

— Ну, а ты-то как думаешь? Ведь по-моему одинаково, что генерал, что комиссар подтягивает. У нас ведь комиссары расстреливают, пожалуй, не хуже генерала.

Изобразив удивленно-вопрощающую мину на лице, смотрю на оторопевшего старика-казака.

— Да ведь я не о том говорю. Комиссары-то, скажем, каторжники, из Сибири поубегали, а генерал другой, он, скажем, княжеского рода, а ты ровняешь с ним „убивцев",

— А! а! Это дело другое.

Я почувствовал, что мой непринужденный тон разрядил атмосферу и ответы смутили допросчика. Подумав немного старик опять спрашивает:

— Ну, а вот на стене, чей портрет висит?

„А, чорт возьми, опять всыпался".

Я до сих пор почему-то не обратил внимая на висевший портрет и теперь, щуря незаметно глаза, стараюсь рассмотреть его, но тщетно.

— Ну, что же молчишь? Аль не знаешь „верховного правителя"?

Ага—выручил.

— Ну, как не знать. Знаю. У нас даже на плакатах его портрет. Но только он здесь не похож. На плакатах барон Врангель высокий, худой, усы большие, а здесь совсем не такой.

— Ну, это ваши комиссары так его представляют. Он, видишь, какой благородный.

— Да-а.

Желая прекратить опасный разговор, я как ни в чем не бывало обращаюсь к ребятам и говорю: „Ну, что же, скучно, ребята, давай „козелка" сгоняем".

Игра в карты заполняла наш досуг, поэтому сейчас же нашлись компанионы.

Первая атака была отбита. Слово „комиссар" забыли и в тот же вечер я опять услышал:

— Андрюша, а Андрюша, расскажи, что же стало с „Лорой".

Третий день я рассказывал ребятам „Пещеру Лихтвейса". Сегодня, как и вчера, я продолжал его. Тот, кто читал семьдесят четыре выпуска „Пещера Лихтвейса", поймет, почему ребята приставали продолжать рассказ.

Прошло несколько дней. Расположившись на койках, мы как обычно дулись в „козла". Все шло хорошо и мирно. Вдруг я вижу, что один из противников сбросил „тыщу", а до этого „вбил" моего туза.

Забыв, где я, как пущу:

— Ах, ты, мать твою в богородицу, ты что же шельмуешь?—Спохватился, да было поздно.

— А, вот ты когда выдал себя.

— В бога не веруешь. Богородицу материшь. Антихрист.

Поднялся угрожающий гвалт. Прибежал надзиратель, потом сестра и, наконец, главный врач. Разобравшись в происшедшем, главный врач (женщина), успокоив разбушевавшихся больных, подошла ко мне и между нами произошел небольшой, но солидный разговор.

— Больной, как же вы поносили богородицу. Вы не верующий?

— Нет, как не верующий?.. Сорвалось... Знаете, у нас там все ругались и больше „в бога". От матросов переняли.

— Подождите, дайте мне сказать. Вы сказали, что вы верующий, ну, скажите мне первый стих „верую".

— „Верую во единого бога отца вседержителя"...

— Ну, хватит. „Отче наш" скажите.

— „Отче наш, иже еси на небесех".

— В церковь вы ходите часто?

— Да, каждое воскресенье, а в престольный праздник обязательно. Вот только как смобилизовали, так не пришлось помолиться в храме.

— В Москве разве есть служба?

— Да, бог миловал. Молиться большевики разрешают. Вот только в Кремль не пускают.

— Вам надо евангелие почитать. Я вам пришлю. Да и исповедаться нужно. Нужно. В Совдепии вы бога совсем забыли.

Тут она перешла на проповедь о житии святых, о гонениях на церковь и православных в Совдепии и, наговорившись вдосталь, ушла.

Я хоть и остался в палате (большинство требовало, чтобы меня убрали в другую), но был все время под бойкотом, даже „Пещера Лихтвейса" осталась недосказанной.

На другой день я и несколько других больных получили по евангелию. В палате был отслужен молебен, кругом покропили, бес был изгнан.

Время подвигалось к ноябрю, годовщине революции.

Числа 4 или 5 сестра об'явила мне:

— Андрюша, сегодня я перевязку сделаю в палате. Не уходи никуда.

Сказала она, как всегда, но я почувствовал, что опять неладно. Вот и перевязка. В палате только один раненый, все разошлись по кабинетам.

— Андрюша, ты наверно много лишнего наговорил, красную сторону держишь?

Я, затаив дыхание, молчу, слушаю, что еще скажет сестричка.— Меня вызвали к главному врачу и спрашивали, как ты себя ведешь и можно ли тебя сводить на допрос?

— Ну, и что же вы сказали?

— Сказала, что нельзя. Еще раны не закрылись, да и самочувствие плохое у тебя. Ведь тебя наверное в контр-разведку поведут, а оттуда трудно выбраться. Мне жалко тебя.

— Спасибо сестра, постараюсь воздерживаться от разговоров.

— Да, это самое лучшее.

После предупреждения сестры я стал думать о побеге из госпиталя. Контр-разведки я, сознаюсь, боялся больше всего, тем более, что положение Врангеля было на краю гибели и поэтому ожидать милости было трудно.

Ежедневно стал ходить в город, на базар, на окраину, думая найти себе убежище.

Числа 9 ноября, проходя мимо витрины со сводками главной квартиры верховного главнокомандующего, читаю: „Бои на главных перекопских позициях". „Ого, близко" —подумал и весело зашагал по городу.

В городе заметно оживление. К пристаням подходят и грузятся пароходы и баржи. На базаре носятся слухи: „красные ворвались в Крым", „красные взяли Джанкой".

10 ноября эвакуация. Грузится армейское обмундирование и белье. У пристани собралась толпа любопытных, до трехсот человек. Все с жадностью смотрят на мануфактуру и вдруг, как по сигналу, бросаются на подводы и начинают растаскивать обмундирование. В несколько минут мостовая у пристани была устлана белым полотном. Выхватывая куски материи, толпа растаскивала их, и они, развертываясь, опоясали всю площадь.

На шум и крик из здания комендантского управления выскочил караул и, выстроившись во всю ширину мостовой, дал залп в воздух.

Толпа бросилась во дворы, магазины, переулки.

Я вбежал в парадное.

Навстречу мне с криком „моя девочка" выбежала женщина. Стою и жду. Выстрелов не слышно. Через несколько минут женщина вернулась, ведя за руку дочку. Увидев меня в халате, с забинтованной головой, она пригласила меня в квартиру.

— Переждите, пока все успокоится.

Разговорились. Она с дочерью живет в Евпатории, а муж офицер как ушел с 1918 г. с Красной армией, так там и остался. Получала изредка известия. Я рассказал

свое положение, намекнув о том, что мне некуда скрыться от контр-разведки, которая при отступлении постарается меня угробить.

— А вы у меня останьтесь. Красная армия уже у Сарабуза и через день-два войдет в Евпаторию.

Принимаю ее предложение. Остаюсь.

К вечеру по городу началась стрельба. Начался погром.

12 ноября из лагеря военнопленных разбежались пленные красноармейцы, а 13 X — я не вытерпел и решил пробраться в госпиталь, рассчитывая, что в суматохе меня не заметят. С черного хода, через кухню вхожу, открываю палату. Около двери стоит офицер в кожаной тужурке, с наганом, тут же надзиратель, сестра и санитары. Офицер указывает, кого из больных взять на пароход.

— Вот этого возьмите, этого. этого и... вот этого,— обернувшись, он указал на меня.

В эту минуту я проклинал свою глупость и любопытство.

Спокойное указание офицера „и вот этого“ меня взорвало. Я потерял самообладание. Со словами „я не поеду умирать в Турцию“—прохожу к своей койке.

— Почему вы не хотите ехать? Ведь вас большевики расстреляют.

— Пусть расстреляют, зато я умру на своей родине, а не в какой-то Турции или Франции.

— Гм... удивляюсь. Вы не из пленных?

— Он два дня пропадал и не являлся в госпиталь,— об'ясняет санитар.

— А-а... Ну, хорошо...

Офицер ушел.

Не теряя ни минуты, я подбежал к двери, юркнул на черный ход и благополучно добрался до своего убежища.

Ждать мне долго не пришлось. Вечером из лагеря бежали пленные матросы и, вооружившись, заняли обе пристани.

Город перешел к нашим. Я вернулся в госпиталь и застал в нем около сорока больных, самых тяжелых.

Делясь радостями, мы провели эту ночь в беспокойстве. Кто-то упорно распространял слухи, что на Евпаторию наступает корпус генерала Кутепова, который по пути занимается расстрелами и грабежами.

Утро 14 ноября. На рейде стоит французский броненосец да две баржи с орудиями, направленными на Евпаторию. Наводят страх. Бегу в город. На набережной пусто. Бегу к базару. Тут оживление. Все куда-то спешат, бегут.

Ничего не понимаю.—Что случилось?— спрашиваю у бегущих.

— Красная армия подходит.

— Ну вот и дождался! Да что там - я. Тысячи с таким же нетерпением ждали Красную армию, приход которой означал конец мучениям и страхам смерти.

К вечеру на берегу у пристани батарея 5 Латышского стрелкового полка навела орудия на стоявшие в море суда.

Но стрелять не пришлось. В море вдруг раздался оглушительный взрыв, вслед за которым одна из барж, а за нею и пароход быстро пошли ко дну.

Броненосец задымил и быстро ушел в море.

Крым ровно через пять недель после памятного совещания у начподива был очищен от последнего гада— черного барона Врангеля.

Б. АРТАМАНОВ

ОТ УРАЛА ДО КАВКАЗА

КОМАНДА СВЯЗИ

В марте 1918 г. из членов союза молодежи при штабе Московского военного округа была создана команда связи, на которую была возложена задача организации связи штаба МВО с фронтовыми штабами. В эту команду вошли Шацкин, Полетаев, Пименов, Попов, Штейман, Гиршфельд, я и др. Тотчас все эти товарищи были направлены в различные концы РСФСР, в штабы красных добровольческих армий. Меня и Шацкина направили в Курск.

Положение Курска было тяжелое. Наступали немцы. Красные партизанские отряды росли, как грибы, но не было никакого руководства, и большинство из них действовали за свой риск и страх. Так называемый „Курский военно-полевой революционный штаб" об операциях фронта был осведомлен скверно и нам пришлось начинать с „азов". Сами собирали мы для передачи в Москву сведения о численности отрядов, их вооружении, действиях и проч. Помимо этого мне пришлось участвовать в комиссии по приему от чехо-словаков оружия[1].

[1] Чехи, боровшиеся на этом участке с немцами, решили уехать домой через Владивосток. Советское правительство предоставило им эту возможность, поставив условием сдачу оружия.

Примерно в конце марта штаб МВО был переформирован. Некоторые наши ребята (например, Гиршфельд) перешли на постоянную военную работу, другие же (в том числе и я) по возвращении с фронтов вернулись на прежние места работы.

НА ЧЕХО-СЛОВАЦКОМ ФРОНТЕ

Когда кругом тебя говорят об острой опасности и тяжелом положении на фронте; когда тебе всего 17 лет, а в кармане лежит большевистский партбилет и крещен октябрьскими боями—преступно сидеть на месте. Туда, где решается вопрос о существовании республики, туда, где ребята бьются с врагами, направлены все мысли. В том же 1918 году летом особая тройка (кажется во главе с нынешним членом ЦКК тов. Филлером), по поручению общего собрания городского района Московской организации РСДРП (больш.), начала проводить первую партмобилизацию на фронт.

Я включен в список. Усталый Филлер стал было сопротивляться, указывая на мою молодость, но мое горячее желание и настойчивость покорили его. Через три-четыре дня несколько десятков партийцев (в том числе из союза молодежи я и тов. Обрант), одетые в военную форму, ехали в Пензу на чехо-словацкий фронт [1].

Настроение у всех приподнятое. Разговоры, конечно, о предстоящей работе, о необходимости перерождения армии из партизанской в регулярную и т. д. и т. д.

---

[1] Чехи, которым советское правительство дало возможность проехать домой через Сибирь, поддались агитации эсеров и выступили против Советской республики.

В Пензе постигло некоторое разочарование. Пензенский губком, во главе с покойной тов. Бош, многих партийцев оставил для работы в тылу, в УК, комитетах бедноты и пр.

Москвичи артачились, особенно молодежь:

— Мы мобилизованы на фронт. Даешь фронт!

Не знаю, как остальным, но нам с т. Обрантом удалось добиться командировки в I Пензенскую дивизию, стоявшую на позициях за г. Кузнецком, между Пензой и Сызранью.

ПАРТИЗАНЩИНА

Обрант был оставлен при комиссаре дивизии для доставки и распределения газет и пр. (политотделов тогда еще не было), а я попал в команду связи телефонистом. Команда наша была немногочисленная и почти сплошь состояла из молодых ребят.

Тогда еще существовало выборное начало. Недовольные начальством вели индивидуальную и групповую агитацию.

— Довольно, товарищи, терпеть от Васьки! Нос уже начал драть. Пусть-ка поработает как все.

— Что он, что другой. Кому-нибудь нужно распоряжаться...

— А чем твой Ванька Голованов лучше?

— Ванька? Он свой парень!

— Чего там! Голованова выбрать!

Команда небольшая, но глотки были здоровые. Покричат, покричат, а на утро, глядишь, новый начальник „распоряжается".

— Ребята! Нужно на паровозе ехать линию исправлять.

— Ну и поезжай! Я вчера только с линии...

— А я с дежурства...

— Эх, вы, черти! Давай, Вань, я поеду. Глотки драть первые, а работать, так назад.

— Ну ладно, уж и я помогу...

Работы и вправду было много, да и ребята подчас не считались ни с временем, ни с силами; поэтому иной раз (охота напала) не в меру перегружались, а потом с устали развинчивались. Такие уж были времена, дело больше на охоте и доброй воле строилось, а не на твердой организованности и распорядительности.

Сумку с инструментами на паровоз, за ней сами и паровоз медленно трогается, давая нам возможность просматривать провода. Ведь просмотр должен быть тщательный. Здесь в один провод включены и штаб дивизии, и полки, и батареи, и бронепоезд.

Ночью, когда обычная боевая работа стихает, телефонисты, дежурящие у трубок, несмотря на расстояние, их разделяющее, составляют одно общество.

— Смоленский полк... смоленский..!

— Слушает—смоленский.

— Смоленский! Твоя очередь сегодня рассказывать.

— Разве моя? Ну ладно, слушайте!

И льются новости, рассказы, анекдоты. Так легче коротать ночь, и хоть по проводу ощущать близость своих ребят.

Зато днем—другое. Телефонист до боли жмет ухо телефонной трубкой, стараясь расслышать передаваемую телефонограмму, стараясь перекричать других.

Быстро и бурно проходил день, связанный с боевыми операциями.

Бои велись главным образом вдоль ж.-д. путей. В сторону от железной дороги как мы, так и противник отходили редко, так как этим создавалась возможность обходов и нападений с тыла. Помню раз попали в такую ловушку. Белые обошли нас и захватили наш телефонный пост. Один из телефонистов успел выпрыгнуть в окно и удрать, но другой был пойман и зверски убит.

Время шло. Постепенно армия пополнялась все новыми свежими силами. Партизанская система „отрядов" исчезла и взамен появилось разделение на полки, баталионы и пр. Вместе с отрядами исчезла и даже как-то незаметно выборность.

Освеженная и укрепленная... наша дивизия перешла в наступление на Сызрань.

ПОД ПЕРВЫМ ОГНЕМ

Из штаба приказание: „Установить связь с селом N..."

На паровозе ехать нельзя и приходится воспользоваться ручной дрезиной. Кроме меня едут еще три телефониста. Среди них общий любимец, большой балагур и весельчак – Пискунов. Налегая на ручки колеса, стараемся поскорее добраться до села. Мимо пробегают деревушки, мелькают следы недавних боев.

Проходят часы. Руки уже в кровяных мозолях.

Кажется, что и не добраться до места.

Наконец-то дорожный путь идет под уклон и мы разгоняем дрезину во-всю. Село быстро приближается. Вдруг из села там, где идет ж. дорога с Рузаевки, бухнуло орудие и над нами расплылось облачко шрапнели. Второе, третье...

Противник брал нас в „вилку".

У всех какое-то выжидательно-тревожное состояние. Только Пискунов не унывает. Сняв фуражку и внимательно ее осмотрев, он говорит с комической ужимкой:

— Фуражка не пробита—значит в голову не попало...

Это сразу рассмешило всех и разрядило „похоронное" настроение.

Так как противник начал обстреливать не только на „разрыв", но и на „удар", и со стороны села послышалась ружейная стрельба, мы решили перебраться в брошенный окоп. Через некоторое время, когда стрельба стихла, мы выбрались из окопа и под покровом сумерек повернули вспять.

„Боевое крещение" прошло благополучно.

ИЗ ТЕЛЕФОНИСТОВ-В КОМИССАРЫ

Наступление дивизии развивалось. Наши части быстро продвигались вперед. Давно уж покинули мы железнодорожные вагоны, в которых так хорошо и удобно устроились. Дивизия перешла на гужевой транспорт. Мы передвигались пешком, с завистью поглядывая на подводы с имуществом.

Не легка доля „паутинников"— телефонистов.

Приходим в назначенное место. Уставшие ноги требуют отдыха, но не тут-то было. Приказание:

— Наладить связь! Дождь ли, холод, перестрелка, а нужно навьючивать на себя катушки проводов и тянуть кабель по избам, по деревьям и полям, чтобы соединить оперативный мозг и действующие части медной проволокой—нервами.

Вскоре по снегу вошли в Стерлитамак (Приуралье).

Дивизия довольно долго задержалась на этом месте. Ребята почувствовали себя оседло. Завелись обширные знакомства. Начались танцульки, вечеринки. Крепко сжилось и слюбилось местное население с Красной армией.

Вдруг неожиданно Колчак нанес сильный удар нашей соседке, 5-й армии. Ее части стали быстро откатываться назад, оголяя наш левый фланг. Отступление было настолько резким, что и нам, для сохранения общего фронта, пришлось быстро отступать. Из Стерлитамака мы отступали одни из последних, когда белые уже вступили в город. Настроение при отступлении было скверное. У многих появилась какая-то растерянность, апатия. Жгли и взрывали имущество, даже то, что можно было бы спасти, если бы время не терялось на бесцельное метание по улицам.

Поистине боевую выдержку человека лучше всего можно проверить в отступлении.

Таял снег. Отступали часто по колено в воде. Измученные лошади падали, вывзливая груз в воду. Ругались на чем свет стоит. Противник не давал привести все в порядок, наскакивая на наши расположения.

Только за рекой Салмыш остановились. Фронт был выпрямлен. Пока что войска отдыхали и не „бряцало оружие“, агитация среди войск противника шла с большим успехом. Однажды мы заметили на берегу противника какую-то суматоху. Стреляли. Тащили кого-то к реке. Через некоторое время все выяснилось. Оказывается, ряд частей противника (преимущественно мобилизованные Колчаком сибирские крестьяне) подняли восстание, перебили офицеров. Вскоре с оркестрами музыки они перешли на нашу сторону.

Мы вновь перешли в наступление и быстро отобрали у белых Стерлитамак. Население встретило нас с радостью.

Через некоторое время по рекомендации т. Степанова (работника трибунала дивизии) меня назначили комиссаром связи в 60-ю бригаду. Бригада стояла в Авзяно-Петровском заводе (в Уральских горах) и я добрался туда только на другие сутки.

Ребята в роте связи оказались хорошие. Командир и его помощник—бывшие моряки, отчаянные ребята. Меня быстро научили ездить верхом на лошади, так как в ближайшие же 3—4 дня мне предстояло проехать около двухсот верст. Первое время, конечно, было туго, да и ребята подсмеивались над моими кавалерийскими способностями, заставляя меня не к месту горячиться и падать...

Развивалась и культпросветработа. Ставили спектакли, привлекая на женские роли местных учительниц. Митинги и спектакли проходили с большим успехом.

Противник продолжал отступать и бежал. Нас перебросили на Южный фронт против Деникина.

ОДИН ИЗ ЭПИЗОДОВ

...Остановились в селе N... Два пехотных и кавалерийский полки ушли на прорыв в тыл противника, на посад Дубовку. Мы остались с одним на прикрытии. Вечером получили сведения, что операция главных сил прошла удачно. По дороге они разбили какую-то часть противника и заняли Дубовку врасплох, захватив много трофеев.

На утро, когда начался обычный фронтовой день, с противоположной стороны посада от Дубовки послышалась стрельба. Оказывается, что кавалерия противника, кото-

рую отрезали наши части, напала на нас. Силы противника превышали наши (насколько помню, это был корпус ген. Топоркова), кроме того у него была артиллерия. Наши обозы по чьему-то приказанию вышли из села и тронулись по направлению к Дубовке. С ними вышла часть людей. Очевидно, обозники решили, обороняясь, отступать к своим главным силам.

Противник заметил отступление обозов и тотчас забухали его орудия, расстреливая всходивший на пригорок обоз. Начался ад кромешный. Быки сломали упряжки и понеслись по полю. Разрывавшиеся снаряды крошили имущество, убивая людей и быков. Все перемешалось в один гул: рев быков, крики и стоны людей, грохот орудий. Часть людей бросилась обратно в поселок, другие метались по полю и падали, погребенные под грудой земли.

Кавалерия противника стала окружать поселок. То тут, то там из ложбин появлялись казачьи отряды. С частью своих ребят-телефонистов я отправился к лечебнице, где одна из рот нашего полка залегла в канавы, окружавшие площадки с стоявшими на них стогами сена. Позиции наши были на горе и нам были прекрасно видны все окраины, поселки и группировавшийся в разных местах противник.

Видно, как на левом фланге противник кинулся в конную атаку. Перестрелка смолкла. Напряженная тишина. Вот ряды противника появились на горке и стремительно бросились вниз на плетни, за которыми скрылись наши стрелки. Еще несколько мгновений и, подпустив противника поближе, ожившие „плетни“ открыли бешеный ружейно-пулеметный огонь. В рядах противника получилась каша. Валились убитые кони и люди.

Натиск был сорван.

Оставшиеся в живых стремительно повернули назад... Под'ем среди ниших ребят был настолько велик, что они выскочили из-за плетней и бросились... пешком преследовать удиравшую кавалерию.

Несмотря на неудачу, противник еще пытался сгруппировать войска против нашего участка, но едва его отряды появлялись в ближайших лощинах, мы с своей высокой позиции заставляли его немедленно убраться. После этого беляки пробовали спровоцировать нас, подослав для переговоров двух казаков, которые издали кричали:

— Зачем вы сопротивляетесь? Сдавайтесь! Все равно нас больше и мы вас разобьем. Сзади вас казаки уже ворвались в поселок.

Выстрелами мы заставили эту публику убраться, успев подстрелить у одного из них лошадь.

Вечереет. Выстрелы стали реже и, наконец, прекратились. Кругом тишина. Слышится только треск горящего сена, подожженного снарядами. Легкий ветер раздувает огненный стог и в темноту блестящим фейерверком летит сноп искр.

До утра простояли мы на постах, ожидая вылазки противника, но, как оказалось, он ушел еще среди ночи, перекинув силы на другой участок. Только утром узнали, что противник ушел, оставив большие потери.

В ПЛЕНУ

Прошло около года. За это время мы исколесили Донскую и Кубанскую область, Сев. Кавказ и вошли уже в Закавказье.

Нам был дан отдых в г. Гандже. В то время я был инструктором для поручений при начсвязи бригады и совмещал обязанность политического руководителя.

Под вечер, когда связь уже была налажена, мы вдвоем еще с одним инструктором отправились по указанному нам адресу искать комнаты. Оказывается, комнаты эти были заняты несколькими офицерами и сестрами милосердия, подчинившимися новому правительству Азербайджанской армии. Встретили они нас очень приветливо. Сейчас же, как водится, начались политические разговоры. Мы всячески осуждали существовавшую у них в армии палочную дисциплину и битье „аскеров" (солдат).

Они возражали:

— С нашим народом иначе нельзя. Без палки он ничего не поймет.

Споры приняли очень страстный характер, при чем мы в выражениях своих мыслей, при определении офицерской сущности, не особенно стеснялись. Уже поздно вечером, несмотря на приглашение остаться, мы ушли ночевать в гостиницу, где расположились наши связисты.

...Ночью я как-то инстинктивно проснулся. Прислушался. Тишина. Вдруг в одном конце города раздалось несколько выстрелов. Затем еще, еще... Где-то разгоралась перестрелка.

Проснулись и остальные ребята.

После справок по телефону выяснилось, что в городе вспыхнуло контрреволюционное восстание, вызванное ханами и беками—партией „Муссават".

Наши основные войска были расположены в армянской части города, за рекой. В татарской же части находился лишь штаб с своими вспомогательными частями и частично артиллерия.

Скоро линии, соединявшие нас с войсками, были прерваны. Стрельба все усиливалась. С грохотом круша здания,

отстреливалась наша артиллерия, отбивая нападение повстанцев.

И у нас уже появились потери. Общий любимец,—неутомимый спорщик, анархист по воззрениям, — Мишка Горбунов был убит, едва шагнул из под'езда гостиницы. На прощанье он успел только крякнуть да выругаться.

Я на телефонной станции. Линия за линией обрываются и прекращают свою работу. Последняя линия к командиру бригады. Он звонит. Быстро втыкаю штепсель. Слышу— „Я обезоружен...“ Какой-то возглас и... последняя линия порвана. Здесь больше делать нечего. Выхожу в коридор, навстречу несут убитых. Оказывается, противник появился в окнах стоящего напротив здания и обстреливает наружные комнаты. Спасаюсь от пуль во внутреннем коридоре. Народу здесь много, но винтовок почти нет. Обороняться нечем. Хожу по коридору и раздумываю: „Наверняка выдадут как коммуниста... Расстреляют. Чтобы не зря пропадать, застрелю хоть пару офицеров“.

В руках наган.

Враги ворвались сразу со всех сторон. В замешательстве смотрю и не вижу ни одного офицера. Наскочили два солдата. Рванули револьвер.

— Забирай твои вещи и иди туда,—показывают на двор.

Вошел в комнату, где были мои вещи. Увы! от них только грустные воспоминания. Хорошо еще, что дневник и папка с письмами и карточками здесь...

Вышел во двор. И тут-то только я встретил офицеров. Даже „своих“ деникинских, с нацепленными погонами. (Очевидно они играли в восстании не последнюю роль). Нас построили. После этого отобрали человек десять-пятнадцать и отвели к стене домика. С десяток аскеров,

размахивая винтовками, что-то горячо спорят между собой, указывая в нашу сторону. „Расстреливать думают" — мелькнуло в голове и это почему-то было совершенно безразлично. Пока аскеры спорили, перед нами появился азербайджанский офицер (это был один из тех, с кем мы ругались накануне) и, увидев, к чему готовятся аскеры, стал кричать на них и бить по чем попало. Нас присоединили к остальным и отвели в какой-то подвал. В подвале с пленных поснимали все мало-мальски приличное обмундирование (не говоря уже о деньгах и других вещах), так что многие остались только в кальсонах или в рубашке. На счастье, мое обмундирование было очень незавидное.

Из подвала нас перевели в тюрьму. Так как туда набили народу раз в пять больше, чем она могла вместить, то лежащими людьми были забиты все коридоры и даже лестницы. Первые два дня есть нам совсем не давали. На третий — поднесли по кусочку солоноватого чурека, но воды опять не дали. От жажды я совсем ослабел. Выждав, когда часовой стал передавать кому-то чашку проданной воды, я вцепился в нее руками и успел разок глотнуть. Правда, за это я получил здоровую затрещину, но глоток воды подействовал все же живительно.

В городе все время слышалась перестрелка, но мы абсолютно не знали положения (какие формы и размеры приняло восстание).

На пятый или шестой день со стороны ж-д. станции началась сильная орудийная стрельба. Отдельные снаряды попадали во двор тюрьмы. Но нас это даже радовало: значит наши где-то здесь близко.

Вот и ружейная перестрелка стала приближаться и уже совсем недалеко слышно громкое „ура" наших войск.

Громовым „ур-а-а!" отозвалась и наша тюрьма. За решетки, на волю понесся „Интернационал".

Увы! Наступление наших войск не было успешным. Крики, удаляясь, смолкли и только слышно было, как рвались патроны в зажженном снарядом складе, возле тюрьмы. Оттуда-то поползли слухи, что в складе масса взрывчатых веществ, которые взорвут тюрьму, если огонь дойдет и до них. С таким настроением нас, в наказание за крики „ура", выгнали гулять во двор—под разрывы шрапнелей „красных".

На следующий день наступление наших войск повторилось Мы уже не стали дожидаться его успешного конца. Угрозами, а где и силой заставили часовых отдать винтовки и отпереть ворота. Лавой выкатились мы из тюрьмы—к соседнему складу оружия. Набрали винтовок, пулеметов, патронов и ударили по тылу отступающих повстанцев. Началась паника.

Через мгновение мы прорвались к своим.

Встреча запомнилась на всю жизнь. Знакомые и незнакомые бросались друг другу на шею, радостно смеялись, целовались, некоторые плакали.

Изголодавшихся и обессилевших от многодневной тревоги нас отправили на медпункт.

БОРЬБА С ДАШНАКАМИ

Пролетел еще год.

В меньшевистской Грузии, на границах которой мы находились, вспыхнуло восстание. Поддержанное Красной армией, восстание быстро охватило всю страну и только Тифлис, где сосредоточены были лучшие меньшевистские воинские части, оказал сопротивление. В то же время у

нас в тылу, в Армении, вспыхнуло восстание армянских офицеров, руководимое партией „Дашнакцутюн".

Главные силы Красной армии были оттянуты в Грузию. В Армении же оставались очень незначительные боевые части и тыловые учреждения. Нужно было привлечь какие-то новые силы, не ослабляя сил Красной армии, находящейся под Тифлисом. Поэтому мне (бывш тогда уже пом. комиссара бригады) и пом. комиссара одного из полков т. Камышенко комиссаром бригады т. Шевяковым была дана задача отправиться в провинцию Лори (Грузия), помочь там организации местной власти, но главным образом—набрать добровольцев для борьбы с дашнаками.

Выполнение этой задачи в отношении русского населения оказывалось очень не легким, так как в провинции Лори жили главным образом крестьяне сектантских вероисповеданий, проповедывавших „непротивление злу" и запрещавших своим сторонникам носить оружие. Сила обычаев и веры была еще настолько велика, что молодежь, несмотря на большое желание помочь Красной армии в борьбе с дашнаками, не решалась преступить законов веры.

— Если старики согласятся, то мы пойдем с радостью,— говорили они.

Посоветовавшись с местными коммунистами, мы решили заняться „пропагандой" стариков. В селе Воронцовке, где мы имели главную стоянку, жил старик (фамилию его не помню), считавшийся среди сектантов чем-то в роде патриарха. Мы решили брать быка за рога. Пригласили к себе „патриарха" и ряд других, наиболее влиятельных стариков, на беседу. Я обрисовал перед ними остроту момента, переживаемого Красной армией, и, упомянув, что

Красная армия помогла им освободиться от меньшевистской власти, заявил, что Красная армия и Армения ждут ответной помощи.

„Патриарх" повел речь издалека. Он расспрашивал, что такое Коминтерн, правда ли, что большевики тоже против войны и убийств, что советская власть не заставляет сектантов носить оружие и проч.

Я ответил, что все это правда, но вопрос сейчас стоит так: либо соблюдение формальностей веры—тогда возможно поражение Красной армии и приход обратно меньшевиков, либо помощь армии, но тогда нужно поступиться сегодняшними интересами веры. Беседа продолжалась еще долго и, наконец, старики дали ответ:

— Мы должны помочь Красной армии и этим уничтожить возможности войны в будущем. Но нужно взять не только добровольцев, а об'явить „добровольную мобилизацию".

Армянское же население сразу отозвалось на наш призыв сотнями добровольцев. Таким образом в течение нескольких дней мы сформировали отряд в тысячу с лишним человек. После наших напутственных речей выступили старики и с своей стороны раз'яснили, почему в данном случае нарушается вера. Раз'яснение было излишним. Молодежь прекрасно и сама поняла, что вера является только формальностью, что борьбы за лучшее будущее не может быть бескровной.

Собранный отряд, несмотря на необученность, сыграл большую роль в борьбе с дашнаками. В горах добровольцы были свои люди—знали каждую тропинку.

Через некоторое время после боев, в крайне тяжелой обстановке, в глубоких снегах, на горных перевалах восстание дашнаков было подавлено.

Э. ПИРТИН

ВОЕНПРОДОТРЯД № 1771

Голод. В центре республики месяцами нет хлеба. Тяжелое продовольственное положение резко отражается и на безопасности Красной армии, являясь тормозом к победе.

Рабочий класс знал, что хлеб есть, хлеба хватит. Но как его взять? Кулаки в деревнях никаким призывам и просьбам советской власти не внимали

Правительство вынуждено было пойти на крайнюю меру—реквизицию.

Тотчас по разным городам республики началось формирование рабочих военно-продовольственных отрядов.

Молодежь, как наиболее восприимчивая, и в этом деле приняла самое горячее участие.

По Москве, по всем районам и крупным предприятиям началась мобилизация в отряды.

На 1 участке (М-Б-Б ж. д.) Красно-Пресненского района на собрании комсомола обдуждался вопрос об организации военпродотряда. „Генеральный" докладчик—Сережа Безруков.

Без долгих прений сразу пришли к заключению—сейчас же об'явили мобилизацию комсомольцев в отряд. Нужно ли было их мобилизовать? Нет. Ребята сами понимали, в каком тяжелом положении находится страна; в отряды записывались чуть ли не всей ячейкой.

Не прошло и недели, как из комсомольцев Красной Пресни был сформирован 1-й военно-продовольственный отряд. Состоял он почти исключительно из молодых членов организации. Я, например, имел двухнедельный стаж („старички" — сражались на фронтах).

Через несколько дней отряд получил очередной № 1771 и назначение в Оренбургско-Тугайскую область.

Наступил день от'езда. Сбор назначен в участковом клубе.

Я, Никитин Колька, Мишка Гаврилин пришли первыми. Каждую минуту с разных концов подходят новые ребята. Кругом суматоха. Одна из комнат клуба беспорядочно завалена сундучками, корзинами, одеялами и прочим багажом.

Почти у каждого от'езжающего в руках новый кисет с табаком — это комсомолки дарят „на память".

Дым столбом.

Ребята в ударе. Смех, шутки не умолкают ни на минуту:

— Ванька, смотри, Таньку без меня не отбей, вернусь, на дуэль вызову...

— Смотри пиши, а не будешь писать... рассержусь,— слышно в другом углу. Все стараются вдоволь наговориться на прощанье.

За разговорами, песнями никто и не заметил, как к клубу подкатил грузовик, предназначенный для доставки ребят на вокзал. Только тут разговоры кончились.

Все выходят на улицу. Лица у всех серьезные, нет прежней беспечности. Провожающие помогают грузить вещи. Каждый старается хоть чем-нибудь помочь.

Все готово. Высоко реет знамя, врученное учкбюро.

Минута прощаний и грузовик под песню трогается к вокзалу.

Мы под'езжали к Оренбургу. После голодной Москвы, где месяцами не видывали хлеба, мы убедились, что хлеба здесь вволю и голод вовсе не от бесхлебья, а от трудности и неуменья наладить связь с хлебородными местами, организовать подвоз. Сама реквизиция не так страшна.

Наконец-то мы в долгожданном Оренбурге.

Первая разведка на станцию и в город произвела на ребят благоприятное впечатление. Ознакомившись с местными достопримечательностями (кстати и продуктовыми), отправились в кино.

Москвичи и здесь не подкачали. Томительное ожидание сеанса оживил задорный смех наших ребят. Скучающая публика сразу приняла участие в нашем веселье.

В Оренбурге мы задержались на неделю.

В один из морозных дней комиссар отряда т. Никитин Н. (назначенный учкбюро) вернулся с документами для дальнейшего следования.

Получив для отряда в количестве двадцати восьми человек восемь винтовок и сотни полторы патрон, мы выехали из Оренбурга.

Было ясно, что на ряду с продработой нам придется вести еще борьбу с бандитами, которые укрывались в киркизских степях. Поэтому вооружение и обучение стояло на первом плане. Всю дорогу от Оренбурга до Круторожино на каждой большой стоянке мы занимались учебой.

Пробыв в пути около четырех дней, мы прибыли к конечной станции Круторожино, служившей как бы преддверием степей Тургайской области. Дальше пробирались на лошадях. Это уже значительно тормозило продвижение. Лошадей приходилось часто доставать со скандалами, так как во многих советах сидели кулаки, не внимавшие

ни аршинным мандатам, ни просьбам. С громадным трудом набирали мы четыре-пять подвод и кое-как добирались от станицы до станицы.

* * *

Утро встретило нас морозом. В дороге он давал себя чувствовать здорово и мы большей частью не ехали, а бежали.

Лишь к вечеру добрались до первого аула киргизов. Хозяин кибитки бай (богач) встретил очень гостеприимно, но от угощенья „маканом" мы отказались и варили мясо, полученное в Орске. После ужина расставили часовых. Свободные легли спать. На новых обитателей кошмы, на которой мы все спали, со всей яростью напали вши; их было такое несчетное количество, что казалось словно лежишь на муравейнике. Но усталость с дороги дала себя знать и мы уснули.

Всю ночь завывал буран.

К утру он разыгрался еще больше. Часов в семь начались сборы в дорогу.

Несмотря на то, что киргизы занимаются преимущественно скотоводством и имеют целые табуны лошадей и верблюдов, мы все же с трудом получили необходимое количество подвод.

До следующего аула было тридцать верст.

Выехали за аул.

Дороги не видно, все занесено, но благодаря привычке подводчиков-киргизов мы понемногу продвигаемся вперед.

Погода не улучшается. Снег поднимается сплошной стеной, не видно даже едущую впереди подводу. Верблюды

тонут в сугробах и уставшие часто ложатся. Лошади давно устали, они еле-еле плетутся, едва поспевая за длинноногими верблюдами.

Замерзшие, голодные и усталые, только к вечеру мы добрались до населенного пункта.

Остановились у богатого киргиза. Через несколько минут сюда приехали трое вооруженных винтовками русских. Это были партийцы, ехавшие по служебным делам в гор. Орск.

На душе стало веселее. Познакомились за чаем. Узнав, что товарищи едут оттуда, куда мы держим путь, ребята наперебой задавали всевозможные вопросы: „Есть ли бани, есть ли комсомол, войска, каковы обычаи и нравы местного населения и т. д.“ За время нашего разговора хозяин успел приготовить обед; из казана уже тянулся приятный запах баранины. Видя, что встреченные товарищи готовятся к еде и как видно с аппетитом, мы тоже, отбросив щепетильность, решили есть вместе со всеми.

Через полчаса „макан“ был готов. Нам предложили помыть руки, снять сапоги и мы уселись, поджав под себя ноги.

Наша компания разделилась на три группы. Каждая группа получила по большой чашке с горячим „маканом“. Мясо доставали прямо руками. Макан, к нашему удивлению, оказался на славу; жаль только, хлеба не было.

После приятной беседы и грузного ужина все заснули, как убитые, не чувствовав даже наступления полчищ „битюгов“ (вшей)...

Наконец мы на месте нашего назначения. Мы прибыли в Адамовку (центр района).

Представившись в совете, расквартировались по дворам.

Я и товарищ остановились у очень гостеприимного хозяина, который тут же после обеда истопил нам баню и предложил вымыться. Чудными нам показались крестьянские бани после наших пресненских. С непривычки мы угорели и вылетели через несколько минут во двор почти голые, черные от сажи. Тут же без памяти свалились. Подобранные хозяевами, мы лежали на удобных постелях, недоумевая, что с нами случилось.

Следующий день был посвящен получению продуктов и ознакомлению с новым „центром". Три десятка строений двумя рядами—вот вам главная улица; несколько пересекающих ее улиц, если не считать базарной площади и больницы,—вот и весь наш новый „центр".

В тот же день райпродкомиссар собрал наш отряд в школе и сделал доклад о методах и условиях нашей работы. Здесь же отряду дали назначение в одну из киргизских волостей, наиболее сопротивляющуюся сдаче продразверстки.

Из доклада выяснилось, что ни в „центре" ни в районе комсомола нет и мы выделили троих тт.: Никитина Н., Гордеева А. и Карандашова Д.—для организации ячеек РКСМ. Это было накануне Октября. На том же собрании мы постановили ознаменовать великий праздник субботником помощи райпродкому по уборке зерна.

Субботник прошел хорошо, сдружив нас с местной молодежью.

А вечером мы от имени Московской организации РКСМ приветствовали молодежь, собравшуюся на митинг, призывая ее в наши ряды.

Утром 8 сентября 1920 года мы выехали на работу...

С момента нашего приезда в Адамовку по всему району распространилась весть, что прибыл московский продотряд. Еще по дороге из Адамовки мы почувствовали это по внимательному отношению к нам крестьян-бедняков и части середняков. Авторитет Москвы чувствовался сильно.

Прибыв в Джетысуйскую волость, мы разбились по три человека на каждый аул, имеющий в своем об'единении несколько под'аулов—под'аульчиков, раскинутых на несколько десятков верст друг от друга.

Мы охватили всю волость, и через несколько дней наша работа сказалась. По дорогам и прямо по степи вереницами тянулись подводы с зерном, сырьем (кожа, шерсть) салом, маслом, направляясь в адамовский райпродком.

Совершенно неожиданно, в разгар работы по аулу, где работала наша тройка, из нашего „штаба" (так называли комиссара и помощника отряда, остававшихся обыкновенно при волисполкоме) было получено распоряжение о немедленной явке в штаб.

В этот день был сильный мороз. Киргизы-подводчики не советовали ехать, говоря „буран жаман" (очень большой буран). Но в виду срочности, с которой предлагалось прибыть, мы настояли на своем и кратчайшим путем, после долгих блужданий по степи, приехали в штаб за-семьдесят верст от нашего аула.

В штабе уже собрались все отрядники. Оказалось, что отряду дали новое назначение в одну из русских волостей.

В новую волость все ехали с большой радостью, несмотря на то, что там было немного опаснее (почему так срочно и вытребовали отряд).

Два человека из нашего отряда оказались больны,— застудились. Погода становилась все злее и злее. Видя, что если не будет дано теплое обмундирование, через две-три недели от отряда останется копия, общее собрание постановило отправить делегата в район за обмундированием и продовольствием. Делегатом этим был избран я, как более „горланистый".

Вместе с больными я выехал в Адамовку.

В „центре" мы узнали приятную новость: оставленные нами трое ребят успели создать несколько ячеек РКСМ и теперь созывают райконференцию для выбора районного комитета.

Получив несколько пар валенок, урюк и табак, я и трое товарищей, окончивших работу по организации ячеек, следовали по знакомым уже поселкам к отряду с поручением выбрать делегата для поездки в Орский укрепленный пункт за оружием, а также литературой для ячеек.

* * *

До отряда оставалось еще верст пятьдесят и мы решили заночевать по пути в поселке.

После обычных бесед с хозяевами на общие темы мы как убитые завалились спать. Но не суждено нам было спать. Часов в двенадцать ночи в окно избы постучали. На вопрос хозяина „что нужно" снаружи послышался вопрос: „здесь солдаты?"

В избу вошел вооруженный винтовкой член сельсовета, партиец. Отозвав меня в сторону, он сказал:

— Получены сведения от коммунаров соседних поселков, что по направлению от Наследницкой станицы движется банда в 120—200 сабель.

Наскоро, здесь же в избе созвали, так сказать, „штаб“ и обсудили образ действий. Решено было, что сельсовет посылает нарочного в Адамовку (центр), а мы четверо, не медля ни минуты, выезжаем к отряду для предупреждения и связи с милицией и коммунарами.

На этот раз мы быстро получили две пары хороших лошадей с хорошими кошевыми санями. Ехать нам следовало до отряда километров пятьдесят; на пути был только один аул и тот за 35—40 километров. Все это расстояние мы рассчитывали покрыть до рассвета. Но не тут-то было. Через десять-пятнадцать километров нас захватил буран. Подводчики сбились с дороги. Вот уже прошло добрых три-четыре часа, а мы все блуждаем по степи, не зная, куда ехать.

Наступивший рассвет помог нам заметить силуэты домов, но, как оказалось, это был тот же поселок, откуда мы выехали.

Обогревшись, усталые от блужданий и бессонной ночи, мы выехали вновь. На наше счастье, буран перестал, и мы в обед прибыли к отряду. Немедленно известили местную партийную ячейку и милицию.

В разные направления, туда, где, предполагали, пройдут бело-зеленые, выслали две разведки, а также выставили посты. Через несколько часов одна разведка вернулась, безрезультатно проблуждав по степи; вторая вернулась только к обеду следующего дня — также безрезультатно.

Вечером была снаряжена новая разведка в шесть человек под моим руководством. Получив верховых лошадей и на всякий случай одну парную подводу, мы выехали из поселка. Еще до выезда все косо посматри-

вали на черные сочные облака, мчавшиеся по омраченному небу. Ребята глубоко зарыли головы в тулупы. Мороз. Впереди едет возница с двумя товарищами, за ними верхом остальные.

Ветер дул как-то неопределенно и рвал со всех сторон, наскакивая вновь и вновь. По земле мчались и вертелись снежные воронки, пути забило, запорошило снегом. Разгорался буран.

Все настойчивее и крепче ударяет по бокам и в лицо ожесточающийся ветер; резче, злей налетает снег, до боли впиваясь иглами льдинок. От встречного ветра не переведешь дыхания, от горячего мороза обжигает лицо.

Едем уже часа четыре, а жилья все нет. С дороги сбились уже давно, целиком полагаясь на „чутье“ возницы. Но не только бело-зеленых—ни души не видно. Лошади устали от тяжелого пути, люди замерзли.

Видя, что спасенья нет, в отчаянии стали залпами стрелять в надежде, что кто-нибудь услышит. Бесцельно.

Решили ночевать в степи.

Отпрягли лошадей, перевернули сани, сделав нечто в роде прикрытия от ветра; разостлали кошму и уже хотели садиться и ждать конца...

Вдруг где-то в стороне послышался лай собак.

— Где-то недалеко жилье,—проговорили все сразу.

Подводчик и я верхом поехали по направлению лая, а для того, чтобы окончательно не заблудиться, велели оставшимся товарищам жечь сено, указывая этим свое местонахождение. После двадцатиминутной езды мы под'ехали к киргизской кибитке.

У оставшихся товарищей вероятно все сено было сожжено и мы их потеряли.

Разбудив хозяина, мы рассказали об оставшихся. Киргиз взял на вилы клок сена, зажег его. Вскоре на свет огня под'ехали и остальные разведчики.

Было часа четыре ночи. Хозяин согрел чаю, наварил мяса и мы, отогревшись, с жадностью набросились на еду и чай.

В эту же ночь мы все-таки провели разведку, но нового ничего не узнали. По сведениям, банда повернула в сторону от нас и позже появилась где-то за Орском.

Поехали в отряд.

* * *

С каждым днем становилось теплее и теплее.

В один из таких дней я (меня выбрали комиссаром) с отрядом должен был выехать в одну из киргизских волостей для проведения продмесячника.

Близилась оттепель, а с ней и распутица, и нужно было во что бы то ни стало закончить сбор продразверстки и отправить хлеб в центр до наступления оттепели. В виду малочисленности отряда (часть заболела), я получил в свое распоряжение взвод военной охраны и выехал на место назначения.

Этот период был самый горячий как для отряда, так и для местной власти. Приходилось работать день и ночь. В районе нехватало подвод и места под продукты и сырье, посылаемые нами.

Не прошло и двух недель, как одна волость уже сдала 100% разверстки; еще через две недели—другая. Отряд был послан в русскую волость.

Кампания продмесячника проводилась в русской волости путем устройства докладов на сходах. Тема: текущий момент, поддержание Красной армии и рабочих в борьбе за освобождение.

Никогда в жизни не забуду, как я впервые выступил в одной из деревень. Мне удалось так ясно, так просто все об'яснить, что не пришлось прибегать ни к обыскам, ни к реквизициям: крестьяне сдавали хлеб добровольно, поняв, что они делают общее дело.

Зато кулаки отбрыкивались, говоря, что все сдали, что у них отбирают последний кусок и т. д. и т. д. Приходилось припугивать и прибегать к обыскам. В земле, на потолке, в двойных стенах находили мы припрятанное зерно.

* * *

За этот период работы мы близко ознакомились с нравами и обычаями киргизов и можно было смело сказать, что киргизы—один из самых отсталых, забитых народов страны.

Например, нередко приходилось слышать от батраков, как они ругали своих хозяев—„Свулочь, сука хозяин, рабучай у него хуже скатина".—В таких случаях мы пытались защищать их от издевательств хозяина, но наши попытки ни к чему не приводили, так как сам потерпевший через десяток минут отказывался, говоря, что „он меня не бил".

В некоторых местах киргизы даже не знали о существовании советской власти, и темнотой их пользовались всякие проходимцы, которые, приехав в аул, забирали сено, кожи и т. п. В качестве квитанций они выдавали примерно такие записки: „Народный Комиссариат Пустых Дел", „Получено от киргиза такого-то аула десять пудов сена в счет разверстки".

Проработав до апреля 1921 г., мы с честью выполнили задания, возложенные на нас организацией, и после изве-

щения об этом Оренбургав ыехали в Москву на переформирование.

В июне 1921 г. переформированный отряд из молодежи Пресненского района, пятьдесят два комсомольца, выехал на Кавказ для новой работы.

П. КРАИНОВ

ВОСПОМИНАНИЯ ОДНОГО ИЗ МНОГИХ

Закончился 1 с'езд РКСМ. Мы, „бутырцы", уже не члены союза рабочей молодежи „III Интернационал", а комсомольцы.

Мы—младшие коммунисты. Это хорошо прозвучало в 1918 году среди крепких, стойких ребят и отпугнуло часть молодежи обывательской; они испугались великого союза „Коммунистический союз молодежи". Скатертью дорога!

Начинаем работать по-новому. Маленькая группка растет, прибывают свежие силы—с Дукса, Сиу и др. Растет союз.

Вливаемся в отряд особого назначения, готовясь к предстоящим боям.

Кольцо врагов все теснее сжимается вокруг нашей республики. Острое дуновение гражданской войны начинает чувствоваться и на Бутырках: отправлен на фронт 47 полк, готовится к отправке 118 рабочий - резервный. В других районах рабочей Москвы та же картина.

Много друзей уехало с 47 полком, еще больше с 117. И я решаю поступить в пулеметную школу.

Райком,—там в то время были—Маруся Берзина с братом, Н. Дроздов, Шкарин, я, еще несколько парней,—не возражает.

* * *

Первый день в казарме. Присматриваюсь. Нового как-будто ничего—здесь в большинстве свои ребята, с которыми вырос, с многими учился и сейчас остались общие интересы. Строевые занятия, но они уже знакомы; больше интересует „Максимушка“ пулемет.

В школе много ребят, уже побывавших на фронтах; их рассказы всегда собирают большое количество слушателей и вызывают непреодолимое желание—поскорей бы на фронт! Стремление попасть на фронт подхлестывает нас в учебе.

За учебой быстро проходит время...

Короткий митинг на Красной площади. Вокзал. Мелькает высокая фигура нашего бывш. начальника—теперь комполка „III Интернационального“—т. Забалуева. Садимся в эшелон. Последний раз смотрю на Москву, прощаясь с ней; в ней ведь прошли все мои 17 лет.

Быстро промелькнула Тула, Орел, Курск и трехдневная остановка в Харькове. Настроение ребят меняется сразу на 100%; с голодной Москвы ведь на белый хлеб, на сахар—наехали.

Полтава. Что же дальше, куда? Окружаем командиров, лезем с расспросами. Ответ разочаровывает всех.

— По приказанию Наркомвоена тов. Подвойского полк расформировывается. Будем формировать 5 украинскую дивизию. Рабочий состав полка явится костяком новой дивизии“.

Ребята ворчат и расходятся. Многие недовольны.

Слышно:

— Вместо фронта быть каким то „костяком дивизии“, это не дело...

Приехали на место формирования нового полка. Кобеляки—грязный южный городишко. Хлюпая по особенной украинской грязи, в светлый солнечный день вступаем мы, три с половиной десятка людей, в город.

Мы—основа будущего 28, а потом 32 стрелкового полка.

Казарма. В маленькой комнатушке полно ребят. Ребята разные--резко выделяется группа москвичей, дальше идет вечно ворчащая, вечно недовольная обывательщина во главе с Генераловым—сыном полковника, и группа спокойных, думающих лишь о доме, крестьянских парней. Вечером по обыкновению жарко спорим, затрагивая самые различные вопросы. Споры резко разделяют нас на две партии: Генералов с своими недовольными и мы—рабочие парни. Остальная масса больше сочувствует Генералову, но и в этой массе я все чаще и чаще слышу нотки сочувствия нам.

Так постепенно подбирается группка сознательных ребят, уже ведущих за собой остальных во всех мелочах армейской жизни.

С каждым днем „костяк" обрастает прибывающими с разных концов армейцами.

В наш полк приехал военком—матрос. Утром он вызывает меня. Спрашивает:—Партиец? Отвечаю:—Комсомолец,—показываю билет. Оставляет в штабе.

Вместе с военкомом мы составляем основу партийной организации. Через несколько дней решаем создать при полку ячейку сочувствующих, тем более, что полк ежедневно рос, прибывали все новые и новые группы. Начинаю записывать; в первую очередь иду к своим ребятам, говорю им о предложении комиссара. Большинство соглашаются.

В три-четыре дня в сочувствующие записалось до шестидесяти человек. Мне радостно—основу все-таки составляла московская рабочая молодежь.

Начинаем развертывать работу; раздаем газеты, устраиваем митинги, читки газет и брошюр.

Так проходят дни.

На очередном собрании ячейки комиссар предлагает выбрать 2 человек для посылки на агиткурсы в Киев. Выбирают меня и Никитина (тоже московского рабочего).

Вот уже я с неделю на курсах, но учеба не идет на ум: меня, как и всех, будоражит григорьевщина и неведомый нам полк Мишки Япончика [1]. А тут еще под боком 9 полк затесался: все время бузит. Туда посылают группу наших курсантов. Первое впечатление от полка: разнузданность полная, с сильным налетом петлюровщины. Работаем „подпольно", потому что если узнают, что коммунист, да еще русский – а из нас большинство не умело говорить по-украински,—придется плохо.

Подбираем верных ребят. „Накачиваем" потихоньку.

Но события идут впереди нас. Полк разлагается не по дням, а по часам. Вот уже согнали с трибуны во время митинга окрвоенкома, т. Богданова, не дали говорить не выполнили приказа о разоружении; начинают заниматься грабежом, продают награбленные вещи, оружие и т. д.

Вдруг орудийный выстрел, за ним другой, третий. Вслед за этим трескотня пулеметов и то стихающая, то усиливающаяся ружейная перестрелка.

[1] Полк Мишки Япончика, составленный из одесского люмпен-пролетариата; разнузданный бандитский полк этот разоружен летом в 1919 году.

Наступаем. Подходим к казарме все ближе и ближе.

Приближаясь к казармам, вступаем в перестрелку.

Наконец—Ур-а-а!—и мы окружаем восставших. Злобно глядя на нас, они складывают оружие. Обходим казармы, делаем обыск.

Наконец-то срезана еще одна язва на молодом теле Советской республики.

* * *

Тяжело мучилась Украина при рождении советской власти.

Муки были сильны, в особенности летом 1919 года.

Наш КСМ Украины в разрешении этих родов принял активнейшее участие; яркой иллюстрацией этому служит трагическая гибель комсомольского отряда под Трипольем.

И вот этим летом агитационно-инструкторские курсы при Наркомвоене Украины выпустили своих питомцев. Знаний у ребят было маловато, но зато все получили правильную ориентировку, что было в то время, пожалуй, важнее знаний.

Я попал в агитотдел киевского пуокра; агитотделы—зачатки, основа будущих политорганов, сыгравших такую большую роль в жизни нашей Красной армии. Назначили меня агитатором-организатором. И сейчас же отправили в Подолию. В Виннице дали путевку в г. Хмельник.

Вдвоем с тов. Эйм направляемся туда. Узкая тряская дорога выматывает всю душу. Наконец-то село. Входим в ревком, ищем председателя, который почему-то здесь называется „народным комиссаром“; может быть, потому, что „его выбрал народ“, как мне об'яснил один старый дед.

Нас встретил живой старичок. Расспрашиваем, ориентируемся в обстановке. По словам этого „наркома“, в селе

тихо, спокойно, хотя мы знаем, что кругом гуляет Шепель и Волынец. Нужно быть осторожным.

Вечером сход. Вместо назначенных пяти часов собираются в восемь. Всматриваюсь. Вместе с доброжелательными взглядами вижу много враждебных: боятся „коммуны", боятся „засилия Московии".

Наконец, получаю слово (говорить приходится по-русски). Во время речи нотки недоверия слышатся среди собравшихся все чаще и чаще.

Приветствую от московских рабочих, говорю о новой Москве. Внимание усиливается, когда перехожу к текущему политическому моменту, обхожу опасные места, затрагивающие самолюбие украинцев, под конец заготовляю „сладкое", заранее зная, что выступит какой-нибудь спец— „самостийник". Кончил, отвечаю на массу вопросов. Мне помогает Эйм.

Первый — (оратор). Настораживаюсь— кто он? Но с первых же слов успокаиваюсь: благодарит за приезд, слышатся простые слова, зачастую, впрочем, недоуменные; сам он солдат-фронтовик, носящий еще гимнастерку цвета хаки, но уже сменивший фуражку на широкую соломенную шляпу.

Выступает второй, говорит тягуче и путанно; трудно разобрать, чувствую, что слушатели этого умника тоже не понимают. Мой сосед говорит:

— Мудрый, як утка.

Еще один, по виду не селянин, скорее учитель. Настораживаюсь, так как с появлением его слышатся одобрения. Говорит он о самостийной Украине, о засилии кацапов и жидов, о „коммунии" и т. д. Я беру слово и даю резкую отповедь самостийнику. — Заканчивая, я кричу здравицу свободной Украине:

— Советской—у-р-а! Слава!

Селяне, очень недружно, но подхватывают.

После митинга начинаем беседовать попросту. Еще раз резко сталкиваюсь с самостийником. Беседа затягивается далеко за полночь. Укладываясь спать, вдвоем с Эйм, подводим итоги.

В селе чувствуется работа петлюровцев, но беднота в большинстве не против нас. Основное, что они хотят, особенно фронтовики, – не надо войны, дайте товару—соли, мануфа́ктуры.

У́тром на подводе, предоставленной „наркомом", едем дальше на Хмельник. Вчерашняя тряска продолжается. По дороге встречаем грузовик. Остановили. Оказалось, это советская власть Хмельника, в полном составе, едет за вооруженной помощью в Винницу, так как в Хмельнике у власти атаман Шепель. Вместе отправляемся в Винницу. В Виннице чувствуем себе спокойно, зная, что не одни в этом море бушующей крестьянской стихии.

* * *

Новая путевка.

Я и неразлучный Эйм едем с продовольственным товарообменным отрядом на Голту (Первомайск).—Кто там, какой еще новый батько-атаман встретится на нашем пути?

Эйм пессимистически заявляет:

— Все одна сволочь, что Волынец, что прочие волынщики.

Короткая остановка в Голте. Для работы нам достается заброшенное „Кривое озеро". Едем туда. При в'езде в село сразу же неприятно поражает толпа вооруженных жителей.

Это местная еврейская самоохрана, никогда и никому не помогавшая, чаще и больше всего служившая приманкой для разных банд.

На утро в селе Тридубы новая неприятность. У околицы ошарашивают три выстрела. Мелькнула мысль „провоцируют". Спокойно спрашиваю возницу:

— Что за выстрелы?

— Та це хлопцы балуются...

Хлопцы, так хлопцы, но надо быть осторожным – расстегиваю кобур, Эйм делает то же. В селе остановка. Нас окружают с недобрым видом около семи молодых хлопцев, каких много в степных гнездах Украины.

— Кто такие—видкеля?

— Рабочие с Москвы.

На счастье нас выручает здешний „нарком", по виду недавно вернувшийся из плена солдат. Идем к ревкому.

Народу к ревкому ежеминутно прибывает больше и больше. Постепенно затягивается беседа. Все уже знают, что мы из Москвы, просят рассказать, „как там". Говорю о Москве, о Ленине, о последних декретах, о голоде, о „коммунии", прошу назначить сход.

— Да иого и нема чого назначати, вси вже в сбори, – слышится в ответ гул голосов.

Выступаю. Аудитория слушает внимательно, это меня еще больше подталкивает. Говорю обо всем, что, знаю, мучает селянство, и в конце о привезенных товарах: соли, мануфактуре, керосине и железных изделиях; поясняю условия товаро-обмена, прошу вести больше хлеба в Голту. После выступления вопросы, вопросы и вопросы: вечные жалобы на плохую жизнь. Мы с Эйм по силе возможности отвечаем и, наконец, усталые идем в ближайшую хату.

Чувствую, что пути для связи с селом найдены. Нужда в товаре безусловно заставит выбросить хлеб.

Настроение в селе такое же, как и везде: „Не хочемо войны", но и... „не хочемо коммуны". (В их представлении коммуна была—казарма, „як у солдатах" - общий котел, общие жены—все общее. „У власти будут злодии, та жиды, кои николи не робили").

Это опять следы петлюровской агитации.

На утро—дальше.

Весть о краме (товаре), привезенном на станцию, уже облетела соседние села и нас встречают в большинстве радушно.

Село за селом начинает везти свой хлеб к Голте.

Возвращаемся в Кривое Озеро. Здесь получаем неприятные вести. Путь впереди взорван. К счастью, собранный хлеб отправлен, но дальнейшая работа этим самым откладывается на неопределенное время.

Едем обратно в Винницу—оттуда в Киев, в „коммуну" (так мы называли наше общежитие курсов). Подсчитываем потери. Собралось ребят человек 20. Рассказы и расспросы,—у каждого масса приключений—затягиваются до рассвета.

* * *

Кольцо врагов сжимает Киев все туже. Окрвоенком эвакуируется. Иду в Наркомвоен—получаю путевку в Политотдел 12 армии.

Получив из политотдела назначение в 47 дивизию, я отправляюсь в Овруч, где находится штаб, оттуда в полк, который вновь формируется. Назначают политруком 1-й роты.

Начинаю работать в новой обстановке.

Публика неважная, часть—бойцы уже разоруженных полков 9,6 Волынского—разложенные хлопцы, но эти еще ничего, хотя и с грехом пополам, но будут драться; зато другие, бывшие дезертиры—Владимирской, Ярославской губ., совершенно отказываются брать оружие.

Начинаю вести работу, беседую по целым часам без отдыха. С удовольствием вижу, что есть хлопцы хорошие. Но моя работа продолжалась недолго; через неделю меня выбрали секретарем партколлектива и я перешел в штаб.

На следующий день поход на Мозырь. За три дня прошли сто верст.

С Мозыря на Птичь, где полку предстоит первый боевой экзамен, бой за овладение м. Птичью, которое занято поляками.

Выдержат ли наши дезертиры?

Приближаемся. Со стороны поляков, где-то вправо, слышна перестрелка, трещетка пулеметов, раскаты орудий.

Иду в 1-ю роту, делаю перебежки вместе. Зорко смотрю за бойцами; как-будто ничего, но видно немного дрефят. Втягиваемся в лес. Дальше уже роты не видно. Кое-где лишь сквозь листву блеснет винтовка и фигура красноармейца. Далеко впереди маячат фигуры польских кавалеристов Делаем перебежку. Лес кончился, кругом поле и на этом поле видна вся картина боя. Вдали местечко Птичь.

— Вперед! Кавалерия справа!—раздается команда.

Резко поворачиваю вправо. Слышу слова команды: „огонь“. Инстинктивно целю и стреляю.

У-р-а!

Под'ем захватывает и меня, встаю, кричу. Впереди, справа, сзади—везде несется мощное ура, сжимая всех в один кулак.

Поляки отступают, бегут

Наконец, Птичь—наша первая победа в длинной цепи побед и поражений. Ребята радостны. Первый успех окрыляет всех. Весело гуторя, осматриваем захваченных у поляков коней и другие трофеи.

Через день полк направляется походом на м. Озаричи, в глубину мозырских болот. Редкие стычки с поляками. Видно польские жолнеры чего-то выжидают; но это нам только на руку—ребята теснее сплачиваются в боевой коллектив. Ведем усиленную работу по сколачиванию полка.

Снабжение из рук вон плохое. Местное население голодает, питается картошкой. Обмундирование у всех армейцев трофейное—похожи на казаков из запорожской сечи. (Такое разнообразие форм вряд ли где-либо придется увидеть в другой раз).

Началась зима и мы чувствуем, что снабжение подкачает, что вместе с местным населением будем голодать и мы. К тому же обмундирование изнашивается не по дням, а по часам, а у многих и вовсе нет теплых вещей на зиму.

Ребята начинают ныть. Беседую, разубеждаю, что голодать не будем, но знаю, что вместе с холодом, голодом на нас надвигается еще более грозный гость—тиф.

Чем дальше, тем больше усиливается в полку брюзжание. Вот уже третий день не видим хлеба. Со снабжением творится что-то неладное, видно, панские кладовые иссякли (до этого мы питались главным образом за счет помещичьих кладовых, главным образом польских).

Советуюсь с комиссаром. Решаем, что я пойду в Озаричи и достану муки, чтобы завтра было возможно испечь хлеб на месте.

Иду—темень страшная. Путь хотя и знаком, но ночь путает иной раз все дороги. Холодно. Худые панские ботинки промокли и промерзли, летняя одежонка совсем не греет. Пытаюсь бежать; как-будто теплее, но ноги начинают неожиданно скользить, и снова иду шагом, с'езжая по льду из стороны в сторону.

Но вот вдали замаячил огонек, это Озаричи,—прибавляю шагу и уже через час я требую у завхоза муки и хлеба для полка. На мое счастье, мука только-что прибыла, и через полтора часа я уже в пути к полку.

Утром полк будет иметь горячий хлеб.

* * *

Тиф косит все беспощаднее; наконец, взял он и меня. Как сквозь сон вижу знакомые очертания Озарич. Я в лазарете: кругом знакомые лица. Видно и эти не уберeглись.

Через две недели опять в полк. Узнаю, что он грузится на следующей станции, на Деникина. Еду на паровозе. На раз'езде встречаю свой эшелон. Пересаживаюсь. Снова в знакомой, родной семье. Братва встречает радостно и весело.

Коростень—Житомир. Деникинцев не видно; они быстро откатываются—не догонишь.

Резко изменилось отношение к нам украинского села: встречают радостно, зачастую с хлебом и солью. Помогают нам.

Ст. Кожанка. Узнаем, что скоро должен притти эшелон противника. Быстро—„рельсы долой". Рассыпаемся по обе

стороны полотна. Ждем. Проходит час, наконец, вдали показывается дымок. Приготавливаемся к встрече. Не доезжая, эшелон останавливается, бросаемся в атаку. Навстречу нам грохочут выстрелы. Бросаю гранату, рядом бросает еще кто-то. Бежим снова. Оцепляем поезд и захватываем его.

Я озяб, иду к станции, она разрушена, но я все же иду. Начинает лихорадить. Все окружающее вертится в диком плясе. Новый приступ тифа.

Приехал я в полк уже к февралю 1920 г., являюсь к комиссару, он отправляет в хозчасть на поправку с исполнением должности комиссара. Таких выздоравливающих здесь много, пожалуй, больше, чем в полку.

Прошел февраль, половина марта. Прошусь в полк, благо есть ребята, могущие меня заменить по должности военкома хозчасти.

Еду... Три дня в бою под Киевом и снова незваный гость—тиф. Проклиная все на свете, забираюсь в первую попавшуюся избу разгромленной деревушки—ложусь и засыпаю как убитый.

Просыпаюсь... в Киеве. Госпиталь. Где я? У своих или у чужих.

Оглядываюсь--среди больных несколько знакомых ребят,—кажется у своих. Но я ошибся.

Это был госпиталь „Червонного креста“ (ни нашим, ни вашим, а больше к полякам).

Пытаюсь встать и сайчас же падаю: ноги не слушаются. Ложусь.

В палату влетает сестра—кричит:

— Поздравляю с гостями, господа!

Мой сосед недовольно бурчит в ответ:—Обрадовалась, зараза...

Для меня ясно, что гости — поляки. Но радость сестры оказалась преждевременной. Через город к Дарнице отходили наши передовые части.

Скорее к своим—не хочу быть в плену. Подговариваю ребят, достаю костыли и в путь-дорогу на Дарницу. Ох, как трудны показались нам эти девять верст. Двенадцать человек вышло—семь пришло; пять остались лежать на улицах Киева.

Наконец Дарница... Санпоезд —и под грохот орудийных выстрелов в Нежин—в госпиталь.

Лежу в госпитале среди своих—и болеть легче, да и последние победы на фронте вливают большую дозу бодрости.

Конец

БИБЛИОТЕКА
ЛЕНИНА
ИНСТИТУТА

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 3

А. Зюзин—В панском плену 5

И. Афанасьев—Дни боевые 20

В. Штевен—Махновщина 41

С. Щеголев—Из под расстрела 44

М, Гаврилин—На уборку хлеба 54

А. Шадури -В горах Карачая 61

Г. Рыбкин—Против повстанцев и поляков 69

В. Прохоров—В плену у Врангеля 88

Б. Артамонов—От Урала до Кавказа 107

Э Пиртин—Военпродотряд № 1771 123

П Крайнов—Воспоминания одного из многих 136